SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сиротинская Ирина Павловна — близкая подруга Шаламова, которая сберегла и обеспечила сохранность его наследия.

Правопреемница писателя, составитель и автор комментариев к его книгам, в т. ч. собраниям сочинений.

С 1964 по 2006 работала в ЦГАЛИ научным сотрудником, а в последнее время — заместителем директора. В 2007 г. выступила организатором конференции к 100-летию со дня рождения В.Т.Шаламова.

С 1970-х годов Сиротинская И.П. занимается расшифровкой рукописей Шаламова.

- Ирина Сиротинская
  - Долгие, долгие годы бесед
    -
    - Каким он был
    - 2 марта 1966 года
    - «Заключенных гонют!»
    - Кошка
    - Долгие-долгие годы бесед
    - Вологда
    - Певец
    - Бимини
    - «С Тютчевым в день рождения»
    - Лучшие люди его жизни
    - Ю.О. Домбровский
    - Театр на Таганке
    - «Как на выставке Матисса»
    - Литература
    - Паблисити
    - Красная шапочка
    - «Никогда не воскреснет шоссе…»
    - Надежда Яковлевна Мандельштам
    - Галина Игнатьевна Гудзь
    - Борис Леонидович Пастернак
    - «ПЧ»
    - 1972 год
    - Серебрянный бор
    - Что он думал о себе
    - 1976 ГОД
    - 1979 ГОД
  - Переписка

        - ■
        - ■ И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову
        - ■ Ирина. И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
        - ■ Записка В.Т. Шаламова
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
        - ■ И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
        - ■ И.П. Сиротинская — В.Т. Шаламову
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
        - ■ И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
        - ■ И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
        - ■ В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской
    - ○ «Горящая судьба»
        - ■
    - ○ «У меня не было удач»
        - ■
    - ○ «Нет мемуаров, есть мемуаристы…»
        - ■
        - ■ Айги Геннадий
        - ■ Александр Солженицын о Варламе Шаламове
        - ■ Лесняк Борис Николаевич
        - ■ Сучков Федот Федотович
        - ■ О воспоминаниях И. Емельяновой
        - ■ Волков Олег Васильевич
        - ■ Сергей Григорьянц
        - ■ О критиках
        - ■ Двадцать лет спустя
- notes
    - ○ 1
    - ○ 2
    - ○ 3
    - ○ 4
    - ○ 5
    - ○ 6
    - ○ 7
    - ○ 8
    - ○ 9
    - ○ 10
    - ○ 11
    - ○ 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15

Ирина Сиротинская

МОЙ ДРУГ ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Долгие, долгие годы бесед

Воспоминания писать очень трудно. Во-первых, помнишь все как бы вспышками-кусками. Что-то яркое, порой пустяки — запомнилось до мелочи, до интонации, до жеста, а от иного важного, главного остается общее впечатление, эмоциональное ощущение какое-то, трудно переводимое в слова. А во-вторых, — всего не скажешь, не напишешь.

Как говорил Варлам Тихонович: «Что мы знаем о чужом горе? Ничего. Что мы знаем о чужом счастье? Еще меньше».

У меня такое убеждение, а вернее сказать — чувство, что не все может быть достоянием публики — есть и автономия личности, черта, за которую не должны переступать другие. Я никогда не записывала за Варламом Тихоновичем, как не записывает, наверное, никто за действительно близкими и дорогими людьми. Это иной пласт отношений. И только в 1981 году я почувствовала, что он угасает, и появилась потребность как-то удержать, притормозить эти ускользающие последние дни. И я стала записывать. Просто завела тетрадь и записывала туда его слова, его последние стихи, а заодно — и то, что вспоминалось. Тетрадь я положила в стол, чтобы была под рукой. И вот уже две толстые тетради заполнены такими фрагментами из воспоминаний. Из этих тетрадей я и взяла некоторые отрывки.

Каким он был

Первое впечатление от Варлама Тихоновича — большой. И чисто физический облик: высокий, широкоплечий, и ощущение ясное незаурядной, крупной личности с первых же слов, с первого взгляда.

Мне пришлось многие годы знать его. Это первое впечатление не изменилось, но усложнилось… Нельзя, да и не надо приводить эту сложную, противоречивую личность к одному знаменателю. В нем сосуществовали, противоборствовали, всегда находясь на «точке кипения», разные ипостаси его личности.

Поэт, чувствующий подспудные силы, движущие миром, тайные связи явлений и вещей, душой прикасающийся к нитям судеб.

Умница с удивительной памятью. Все ему интересно — литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книгочей. Исследователь.

Честолюбец — цепкий, стремящийся укрепиться в жизни, вырваться к славе, бессмертию. Эгоцентрик.

Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа. «Главный итог жизни: жизнь — это не благо. Кожа моя обновилась вся — душа не обновилась…»

Маленький беззащитный мальчик, жаждущий тепла, забот, сердечного участия. «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью».

Беспредельно самоотверженный, беспредельно преданный рыцарь. Настоящий мужчина.

Теперь ношу ее цвета
В раскраске шарфа и щита…

2 марта 1966 года

Разбирая его архив, я нашла в конвертике бережно хранимый им листочек настольного календаря за это число с его пометкой «11–30». Именно в этот день и час я впервые пришла к нему. Пришла по служебному делу как сотрудник отдела комплектования Центрального государственного архива литературы и искусства. Устроила эту встречу моя подруга — Наталья Юрьевна Зеленина, мать которой, поэт и ученый Вера Николаевна Клюева, дружила с Варламом Тихоновичем. Наташа меня предупредила:

— Смотри, он очень резок, чуть что не по нему, с лестницы спустит.

Я решила рискнуть, тем более и жил Варлам Тихонович тогда на первом этаже. К этому времени я прочитала те его рассказы, что ходили в самиздате. «Тифозный карантин» вызвал просто боль, пронзительную боль в сердце. Казалось, что-то нужно сделать сейчас же, неотложно. Иначе жить, иначе думать. Подломились какие-то основы, опоры души, привыкшей верить в справедливость, конечную справедливость мира: что добро восторжествует, а зло будет наказано.

Я шла к нему как к новому пророку, чтобы спросить: как жить. Но повод был приличен и официален — я собиралась предложить ему передать на вечное хранение свои рукописи в ЦГАЛИ.

Дверь передо мной распахнул настежь высокий ярко-голубоглазый человек с глубокими морщинами на обветренном лице. Викинг! (В книжности В.Т. меня упрекал, но «викингом» ему быть нравилось, даже в стихи это вошло.)

Викинг галантно помог мне снять пальто, провел в узкую комнатушку (метров 7–8) и предложил изрядно облезлый стул. Я, не мешкая, изложила свою официальную миссию. Пока я говорила, он смотрел на меня чуть прищурившись, пронзительно, прямо-таки пронзающе. Но меня это почему-то не смущало, хотя я всегда легко смущалась и краснела до ушей. Но скоро его лицо утратило напряжение, стало мягким и доброжелательным. Он ответил согласием на мое предложение относительно рукописей. И я, без всяких предисловий, приступила к главному. Как жить? Этот вопрос его не удивил. Может быть, я была не первой, кто его задавал. Он ответил, что, как сказано в десяти заповедях, так и жить. Ничего нового нет и не надо. Я была чуть-чуть разочарована. И все? И тогда он добавил одиннадцатую заповедь

— не учи. Не учи жить другого. У каждого — своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна именно потому, что она твоя, а не его.

Уходя, я спросила, можно ли его навещать иногда.

Он кафедрально, внушительно, словно ставя мне оценку, сказал: «Приходите. Вы мне понравились». Я ответила: «Вы мне — тоже». И увидела, как суровый викинг вдруг смутился, как мальчишка, и стал неловко подавать мне пальто.

Действительно, он меня не разочаровал — он был точно такой, каким должен был быть Автор «Колымских рассказов».

А свою одиннадцатую заповедь ему самому случалось часто нарушать. Его убеждения всегда были окрашены страстью в яркие, контрастные тона. Полутона — не его стихия. И он не просто говорил, думал вслух — он учил, проповедовал, пророчествовал. Был в нем Аввакумов дух непримиримости, нетерпимости.

Мне, например, матери троих малых детей и дочери любимых и любящих родителей, он не уставал проповедовать фалангу Фурье, где стариков и детей опекает всецело государство.

«Ни у одного поколения нет долга перед другим! — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!»

Это не мешало ему с неуклюжей почтительностью принимать у себя моих малышей (я часто ходила в гости с ними), хранить их рисунки, даже писать стихи о них. «Мой знакомый Пикассо…» — это стихи о рисунках моего сына Алеши.

«Заключенных гонют!»

Во время войны мы эвакуировались из Москвы в Иркутск вместе с авиационным заводом, где работал мой отец. Поселились мы на Болотном участке — так называлась застройка из двухэтажных бараков, действительно, на болоте, так что вместо тротуаров были настланы деревянные доски. Мимо пролегал тракт — булыжная дорога с глубокими кюветами. Однажды мы играли у дома, и дети закричали: «Заключенных гонют!» И я вместе со всеми подбежала к тракту. Из кювета мы смотрели на медленно приближавшиеся серые колонны. Помню шорох от шарканья многих ног. И мое потрясение оттого, что это были обыкновенные уставшие люди. Не знаю, чего я ждала.

Я рассказала Варламу Тихоновичу об этом детском воспоминании, и он был взволнован до крайности: именно «гонют», именно серые. И рассказал, что Иркутлаг был одним из крупнейших лагерей.

Потом мы, москвичи, часто встречали длинные колонны заключенных, и уже не удивлялись, не бежали навстречу, это было обыкновенно.

Ту первую встречу я помнила всегда. Значит — знала. Но это мне не мешало верить в справедливость и доброту мирозданья к человеку. Верить даже не на интеллектуальном, а на каком-то биологическом уровне. Может быть, оттого, что во мне, как и в Варламе Тихоновиче, гены древнего священнического рода. И хотя я, как и он, неверующая, но на каком-то генетическом уровне во мне закрепилась вера в добрые высшие силы. Варлам Тихонович писал мне: «Мы очень с тобой похожи». В этом мы действительно были похожи.

Есть и еще один исток «похожести» — мы оба выросли на книгах, на литературе XIX века. Об этом мне В.Т. сказал в одну из первых же встреч.

Если тщательно проанализировать стихи и прозу Варлама Тихоновича, то обнаружится в нем даже не вера — структура души, сознающей свое единство с вечной и высшей силой. В «Вишерском антиромане» он писал: «Идеальная цифра — единица. Помощь «единице» оказывает Бог, идея, вера… Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице — вот о чем я раздумывал в 95 камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы…» Это было в 1929 году.

Он и прошел свой путь «единицей» — в первой, главной

ипостаси своей личности.

Кошка

Кроме моей подруги еще одно существо оказало мне протекцию при знакомстве с Варламом Тихоновичем. Я сначала не оценила всей важности этой рекомендации, и когда большой кот настойчиво стал тереться об мои ноги, я небрежно погладила его ногой. Тогда он вспрыгнул мне на колени и стал бодать мои руки, и я его согнала без всяких церемоний, чтоб не мешал. И удивилась, когда Варлам Тихонович растроганно сказал: «Не подходит к чужим». Он рассказал мне о другой кошке, о кошке Мухе, которая погибла в 1965 году. «Ближе ее не было у меня существа никогда. Ближе жены…» Муха гуляла с ним вечерами, как собака. Сидела на письменном столе, когда он писал. Существо, которое не мешало, но любило. Когда кошка пропала, Варлам Тихонович искал ее всюду, даже там, куда свозят пойманных животных. Он рассказывал об этом, дрожа всем телом. «Я вошел, меня всего трясло, там в клетках на стеллажах сидят кошки — и молчат. Все молчат. Они все поняли и готовы умереть. Я звал ее, но ее там не было». Рабочие, что-то ремонтировавшие во дворе, сказали Варламу Тихоновичу, что закопали утром убитую кошку. По просьбе В.Т. они ее выкопали. В.Т. ее вымыл, высушил на батарее, простился с ней и похоронил.

Мне было жаль его бесконечно и жаль Мухи. В моем детстве остался мой любимый, тоже погибший друг — дворняжка Дек. До сих пор он мне снится. Его карие, сияющие любовью глаза. И я, просыпаясь, думаю, что не может такая великая любовь пропасть из мира бесследно.

Варлам Тихонович понял серьезность моего сочувствия. «Людям далеко до кошек, — сказал он, — но вы — можете быть кошкой». Вот такой комплимент я получила, и только потом поняла, что это был очень большой комплимент.

Долгие-долгие годы бесед

Я стала часто бывать у Варлама Тихоновича. К моему приходу он заготавливал узенькие полоски бумаги, где записывал, что надо мне сказать. Некоторые и сейчас сохранились в его бумагах. И я попадала буквально под ливень рассказов. Рассказчиком он был прекрасным, так что перед моими глазами прямо оживали куски его прошлого. «Я почему-то все прямо вижу», — сказала я однажды. «Оттого, что я вижу это сам». Я и сейчас слышу, как понижается его голос, замедляется речь, когда рассказ достигает кульминации, прищуриваются и сверкают глаза, а поза становится напряженной. И вот уже почти нараспев: «Но-о он не взял коробку…» (Он рассказывает мне о Г.Г. Демидове, эпизод, описанный в рассказе «Житие инженера Кипреева».) Пауза. И дальше — как выстрел — «Американские обноски я носить не буду». Пауза.

Почти все его рассказы, особенно написанные в 1966 и позднее, я слышала от него, а потом читала. Он шутя, а порой и почти серьезно называл меня соавтором, даже написал это в посвящении сборника «Воскрешение лиственницы». Истинно здесь только то, что мое восхищение его прозой, моя готовность слушать стимулировали как-то его творческий поток. Не раз говорил он мне, как дорога ему возможность «высказаться» до дна. Были у нас и споры. Я упрекала его в порой затянутой, на мой взгляд, экспозиции, в излишнем философствовании. Это должно уйти в подтекст, говорила я, в эссе.

Мне казалось, что это от неутоленной жажды высказаться. Оттого, что в рассказ шло все — и то, что должно идти в эссе, в мемуары, в письма. Слова вылетали под напором невысказанных мыслей, чувств. «Все мои рассказы прокричаны…» — писал он мне в 1971 году. Так это и было.

В момент рождения именно высокий эмоциональный накал не давал возможности контролировать поток. А потом он редко возвращался к записанному рассказу.

Наверное, я была неправа — ценность его прозы — в ее первозданности, в первозданности чувства, мысли, слова, в запечатлении самого момента проявления души.

Между ним и читателем нет даже едва ощутимой преграды, отстраненности, нарочитости литературного стиля, читатель прямо вступает в поток непосредственного общения с его душой. Тут литературность, в самом деле, могла только помешать. А уж он ли не знал, не обдумал до тонкостей литературных приемов!

А я ему говорила, что надо немного редактировать себя — кое-что отделать, поправить после того, как рассказ записан. Он очень огорчался, и в ответ мне написал как-то целое эссе, отстаивая «свободное проявление души писателя» как творческий метод.

> «Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера… В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора — наиболее удачные рассказы написаны набело, вернее, переписаны с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть…
>
> Все, что раньше, — все как бы толпится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо — и рассказ написан.
>
> Рассказы мои представляют успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа… Пощечина должна быть короткой, звонкой… Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа… Для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым своим словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому по-своему. Если рассказ доведен до конца, такое суждение появляется»
>
> (1971).

Уже после смерти Варлама Тихоновича я горько упрекала себя, что не записывала наши беседы. Но потом, прочитав его записи, все написанное им, я поняла — он-то записал почти все.

Я думала тогда, думаю и сейчас, что Шаламов шел новым для русской прозы путем.

В русской прозе современной сильнее других, пожалуй, классическая толстовская традиция. Солженицын — весь в этой традиции. Безусловно, очень почтенная и почитаемая традиция. И критики к ней приспособились — типы, психологизм, сюжетные линии, их пересечения, голос автора…

С этой меркой к прозе Шаламова подойти нельзя. Как нельзя в строе психики золотого XIX века осмыслить Хиросиму, Освенцим и Колыму.

Я всегда говорила Варламу Тихоновичу, что он нашел

адекватную жизненному материалу художественную форму, что это — его большой вклад в русскую литературу. Предельная сжатость рассказа, словно заключающая в себе пружину, которая остро распрямляется в сознании, в сердце читателя. Одна фраза из «Одиночного замера»: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день» — войдет в память на всю жизнь.

Он показал жизнь и психику запредельную, за рубежом добра и зла, и только так ее можно было показать — без нагнетания чувствительности, без психологических изысков, лишние слова здесь кажутся кощунством. Сурово, лаконично, точно. Лаконизм этот — спрессованный до предела гнев и боль автора. Эффект воздействия его прозы — в контрасте сурового спокойствия рассказчика, кажущегося спокойствия повествования и взрывного, сжигающего содержания.

Тогда немного было людей, которые ему это говорили. И даже моя малая поддержка была ему важна. Он писал мне в 1966 году: «Ты даешь мне сознание моего маленького места в жизни…» Маленького — это уже от гордости.

Я ценила его прозу больше, чем его стихи, и это его очень обижало. А мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: «Да что рассказы — нет в них ничего особенного». Его творческий поток в эти годы как-то переместился в стихи, а стихи все реже, как мне казалось, сохраняли крепость настоящей поэзии. Он пытался писать и стихи «на случай». Это не получалось, т. е. получалось плохо. Я, конечно, ничего не говорила ему, но он это чувствовал. Проза все иссякала, иссякала. После 1973 года он писал прозы совсем мало.

Вологда

В 1968 году, летом, я побывала в Вологде. Побывала в доме у Софийского собора, где прошло детство Варлама Тихоновича, побродила по Шаламовской горке. А ему привезла фотографии и (сознаюсь в этом варварстве) кусочек собора, который отколупнула от цоколя. В это лето Варлам Тихонович мне написал:

> 8 июля 1968 г.
>
> «…Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми (имеется в виду художник В.Н. Сигорский и его жена, уроженцы Вологды)… никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери все было кончено, крест поставлен на городе… А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения где-то глубоко внутри… Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белозерский камень мне потому менее дорог, чем камень от собора, что на Белоозере я никогда не был, а у Собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был на дворе сзади дома…»

Так начался поток воспоминаний — «Четвертая Вологда». Не буду ее пересказывать, она известна читателям. В те годы В.Т. почти непрерывно рассказывал о своем детстве, но кое-что в повесть не вошло.

«Я не любил своего отца», — говорил Варлам Тихонович. Вряд ли это отношение было однозначным. Скорее — тут неизбежное столкновение двух одинаково твердых и страстных характеров. И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру, хотя и хотел этого, не препятствовал свободному времяпровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье.

Летом 1989 г. я вновь побывала в Вологде, поработала в Вологодских архивах, чтобы немного разобраться в родословной

В.Т. Смущало меня зырянское, по словам В.Т., происхождение отца («шаман», «полузырянин»). Выяснила я, что Тихон Николаевич — сын и внук священника, а корень этого разветвленного рода идет из Великого Устюга, в «усть-сысольскую глушь» попал лишь отец Тихона Николаевича — Николай Иванович, а дед Иоанн Максимович Шаламов происходил из городского священства, хотя и служил к концу жизни в приходской церкви Устюжского уезда. Семья Тихона Николаевича была отнюдь не бедна: он получал ежегодно пенсию за службу в Северо-Американской епархии 1350 р., оклад соборного священника 600 р., кружечный доход около 250 руб. По дореволюционным ценам это был небогатый, но приличный доход.

Кухонные занятия матери — это, конечно, уже послереволюционная пора.

Варлам Тихонович без слез не мог вспоминать о матери и сестре Наташе. Но кто из женщин не тащит этот воз — семейное хозяйство. И мать на кухне, и Наташа над корытом — это еще не трагедия. Но деньгами в семье распоряжалась мать, охотничьи трофеи делила мать… Не так уж задавлена была мать отцовской волей, если смогла потом удержать рухнувшие своды вселенной над своей семьей.

Скончался Тихон Николаевич 3 марта 1933 года, а мать — Надежда Александровна 26 декабря 1934 года, оба — в возрасте 65 лет.

Своей семье многим обязан Шаламов — несгибаемой нравственной твердостью и силой духа, которую можно принести только из детства, когда создается, рождается личность. И щепетильная честность, и гордое стремление к независимости.

Как презирал он интеллигентские московские поборы на бедность опальным. «Три рубля за вход — и уже твой благодетель». Вспомнишь его слепого отца, ходившего сражаться за бога, и мать, а одиночку боровшуюся с нищетой.

И о брате Сергее. Есть у Варлама Тихоновича четверостишие:

Зови, зови глухую тьму —
И тьма придет.
Завидуй брату своему,
И брат умрет.

Старший брат, Сергей, признанный лидер вологодских мальчишек. Лучший охотник, самый отважный пловец, строитель

«Шаламовской горки». Мальчишечье благоговение было в интонациях Варлама Тихоновича, когда он рассказывал о брате, о его неограниченной власти над мальчишками. И этот эпизод, когда какой-то парень на ледяной горке сказал ему, малышу:

— Подвинься-ка, пацан.

А его провожатый (и В.Т. принимал крайне забавный вид холодного достоинства, а губы его подергивались от предвкушения веселого торжества) сказал медленно и веско:

— Это не пацан. Это брат Сережки Шаламова.

Была какая-то детская зависть к брату, всеобщему любимцу. «Я хотел быть в детстве калекой, больным». — «Зачем?» — удивилась я. — «Чтобы меня любили».

Может быть, было какое-то предчувствие у родителей. Смерть ходила за Сергеем по пятам. И погиб он в 22 года.

Редко относился к мужчинам Варлам Тихонович с сердечной теплотой. С уважением — да. Но не с теплотой. Но Сергей… Я видела эту живую детскую любовь, восхищение, которые связывали В.Т. с давно погибшим братом.

Певец

— То, что я больше всего хотел в детстве — не сбылось, — сказал Варлам Тихонович, — я хотел быть певцом.

Слуха у него не было. И музыку он не любил, не понимал, а вот певцом быть хотел. И такая свежая горечь была в его словах, что я перестала смеяться. Да, он воображал сцену, декорации, овации… Это был живой и громкий успех — то, чего не было в его жизни. Не посмертная слава («на что она мне?»), не где-то существующие читатели и почитатели, а здесь, сейчас — партер, ярусы, обвал оваций.

Он сочинял в юности экзотические песни. «У тебя холодные колени…» («Ориноко»), синеблузные марши, даже исполнял мне их неожиданно высоким и неверным голосом, но — с увлечением. Это было очень смешно и немножко грустно.

Бимини

Вообще мы часто играли: рисовали друг друга, писали шуточные стихи, чертили подробные планы страны Бимини с бухтами, причалами, дворцами и яхтами. И я рассказывала о необыкновенных нравах этой страны: когда там расстаются, например, то без слов — только пошлют друг другу цветок. «Два корабля и три дельфина» — это с карты страны Бимини. В его стихах осталась она, «как тайнопись, которой маги заворожили свой секрет…»

Но в мире преувеличенья,
В обличьи сказок и легенд,
Она сама была леченьем…

(«Она ко мне приходит в гости», 1973 г.)

В самом деле, это было целительно. Десять лет я опекала Варлама Тихоновича, и он в эти годы не болел. Узнала я недавно, что мать Тереза говорит — возьми за руку человека. А ведь чисто интуитивно так поступала я. Приду — он зол, издерган, взвинчен. Я просто молча беру его за руку. И он затихает, затихает. И словно проступает другое лицо, другие глаза — мягкие, глубокие, добрые.

Сейчас я думаю: после того ада, который он прошел, как много душевных сил в нем оставалось, что хватало их на мои игры — чудеса и паруса, дельфинов и викингов.

«С Тютчевым в день рождения»

Многие стихи рождались на моих глазах. Расскажу еще об одном стихотворении.

Грозы с тяжелым градом,
Градом тяжелых слез.
Лучше, когда ты рядом,
Лучше, когда — всерьез.

Нынче прошу прощенья
В послегрозовый свет.
Все твои запрещенья
Я не нарушу, нет.

С Тютчевым в день рожденья,
С Тютчевым и с тобой,
С тенью своею, тенью
Нынче вступаю в бой.

Дикое ослепленье
Солнечной правоты
Мненье или сомненье
Все это тоже ты.

(1968 г.)

Событийная основа стихотворения, как всегда, реальна: в 1968 году мы праздновали день его рождения, как всегда, — по старому стилю, 18 июня: глубокие тарелки с конфетами и яблоками, свежие огурцы, курица — из кулинарии, моя фотография у Вологодского кремля — на столе. И гадание по Тютчеву. Бывало — по Блоку. Но почему-то никогда — по Пастернаку. В июле я уезжала в отпуск с детьми, и ему строго-настрого наказала не жариться на солнце в Серебряном бору: был год активного солнца, а он любил плавать и загорать в Серебряном бору.

Вот об этих моих запрещениях он и написал. Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время. Это лето 1968 года, июнь 1968 года он назвал лучшим

месяцем своей жизни. Из письма:

> Москва. 12 июля 1968 г.
>
> «…Июнь шестьдесят восьмого года — лучший месяц моей жизни… Если бы я был футурологом, чьи обязанности совсем недавно выполняли кудесники… я желал бы себе будущего в вечном только что прошедшем июне. Я предсказал бы себе этот июнь, пожелал бы себе только этого июня…»

Солнечная правота — это правота света, правота счастья.

Лучшие люди его жизни

Немного я могу перечислить имен, которые он всегда, всегда упоминал с глубоким уважением. Александр Георгиевич Андреев — первое из этих имен, политкаторжанин, эсер, с которым он встретился в 1937 году в Бутырской тюрьме. И героя «Колымских рассказов» в его честь он называет Андреевым. Свет славы и подвига народовольцев был на этом имени, свет великой жертвы — всей жизни за идею, за свободу, за свое дело.

Георгий Георгиевич Демидов, физик, с которым Шаламов познакомился в Центральной больнице для заключенных на Колыме. Недавно меня разыскала дочь Демидова, Валентина Георгиевна, и дала мне прочитать рассказы отца. Конечно, это человек, Шаламову близкий по духу, — твердый, смелый, талантливый, неукротимый.

Это качество — нравственную твердость, верность себе — Варлам Тихонович ценил превыше всего.

Андрей Максимович Пантюхов — врач, заключенный, который спас Варлама Тихоновича, направив его на курсы фельдшеров в 1946 году. Доброта. Действенная доброта — вторая главная добродетель по шкале ценности Варлама Тихоновича.

Конечно, были просто люди близкие, с которыми Варлам Тихонович годами поддерживал отношения, ценил их дружбу, часто о них мне рассказывал. Многие из них также побывали в заключении. С некоторыми я познакомилась.

Моисей Наумович Авербах, часто помогавший Варламу Тихоновичу в житейских делах, Леонид Филиппович Волков-Ланнит, знакомый с В.Т. еще по 20-м годам, литератор, Галина Александровна Воронская (Галочка Воронская, как всегда называл ее Варлам Тихонович, дочь А.К. Воронского), ее муж Иван Степанович Исаев (он провожал Варлама Тихоновича в дом инвалидов), Аркадий Захарович Добровольский, сценарист, знакомый В.Т. по Колыме, умерший, как и он, в доме инвалидов, Борис Николаевич Лесняк и его жена Нина Владимировна Савоева, врач, на Колыме много сделавшие для спасения В.Т., Валентин Валентинович Португалов, поэт, также «колымчанин», Столярова Наталья Ивановна, дочь Натальи Сергеевны Климовой, народоволки, героини рассказа Шаламова «Золотая медаль», Гродзненский Яков Давыдович, Шрейдер Юлий Анатольевич и некоторые другие. Очень тепло говорил всегда Шаламов о сестре своей первой жены — Марии Игнатьевне Гудзь.

Особого рассказа требуют отношения Варлама Тихоновича с

Б.Л. Пастернаком и Н.Я. Мандельштам.

Ю.О. Домбровский

Варлам Тихонович еще в 1966 году дал мне «Хранителя древностей» и сказал: «Лучшая книга о тридцать седьмом годе». Я прочитала и удивилась какой-то колдовской завораживающей силе этой книги. Все еще вроде обыкновенно — слова, события, но вдруг становится страшно. Что-то страшное, холодное, мерзкое, как удав, вползает в жизнь.

Я захотела увидеть этого человека. И познакомилась с ним вскоре, пришла к нему в гости на Б. Сухаревский, где Ю.О. тогда жил. И застала кипу черновиков «Факультета ненужных вещей», приготовленных к выносу на помойку. Конечно, я пришла в ужас, тут же забрала их в ЦГАЛИ. Юрий Осипович с готовностью обшарил свое очень скромное жилище в поисках других рукописей и писем и передал мне кроме рукописей «Факультета», роман «Обезьяна приходит за своим черепом», «Театральные рассказы», повесть «Королевский рескрипт», письма и фотографии. Не нашел он писем Б. Пастернака и М. Шагинян очень интересных, по его словам, хотя перетряхнул все книги («куда-то засунул, а может быть, унесли»).

Говорили мы с Юрием Осиповичем тогда долго. Он рассказывал захватывающие детективные истории, где фигурировали отпечатки пальцев покойника, блатари и следователи. Но самое замечательное и для меня интересное он сказал о Шаламове: «Тацитовская лапидарность и мощь».

Впоследствии Федот Федотович Сучков передал мне слова Юрия Осиповича: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий». Конечно, литература — не спорт, у каждого свое, не сравнимое с другим, место в ней. Но слово мастера о мастере — большая ценность по гамбургскому счету.

Театр на Таганке

Мы познакомились с Варламом Тихоновичем как раз тогда, когда я переживала увлечение театром Любимова. Прошло много лет, но и сейчас я не помню более яркого театрального впечатления своего, чем спектакль «Добрый человек из Сезуана».

Плохой конец заранее отброшен,
Он должен,
должен,
должен быть хорошим!

Звенящий голос Славиной.

Варлам Тихонович скептически отнесся к моему увлечению. На его фотографии, подаренной мне тогда, в 1966 году, надпись: «Ирине Павловне с искренней симпатией и советом забыть театр на Таганке».

— Это все было, — говорил он мне, — Мейерхольд. Только забыто сейчас.

Но, подчиняясь моему желанию, он стал ходить в этот театр. И с каждым разом — все охотнее. «Павшие и живые», «Пугачев». После «Жизни Галилея» с Высоцким он сказал: «Давай напишем пьесу для этого театра». От соавторства я, конечно, отказалась, а к пьесам его интерес возобновился. Он стал делать наброски к пьесе «Вечерние беседы». Сюжет ее незатейлив: в тюремной камере встречаются все русские писатели, нобелевские лауреаты: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Их гоняют на пилку дров, они выносят парашу. А вечерами они беседуют…

Варлам Тихонович увлекся театром. Ходили мы и на «Дни нашей жизни» в Театр Пушкина, и на «Интервенцию» в Театр сатиры. Это были пьесы, запомнившиеся Варламу Тихоновичу еще в молодости. Но сейчас спектакли его разочаровали, наверное, тогда он их воспринимал ярче, непосредственнее, в долгие бестеатральные годы он сам их обогатил и украсил в воспоминаниях.

Не любил он МХАТ, все это жизнеподобие на сцене — сверчки, чаепития и т. п. Театр есть театр. Театром он должен быть. И четвертой стены у него нет. О Мейерхольде, Вахтангове, Таирове говорил всегда с увлечением. Величайшей актрисой

считал Алису Коонен.

Жаль, что он не дождался ни постановки своей пьесы «Анна Ивановна» на сцене, ни экранизации своей прозы. У него было, как мне кажется, сценическое чутье.

«Как на выставке Матисса»

Так начиналось стихотворение «Кто-то сердце крепко…» (1969 г.). «Волны Стикса» появились в нем по настоянию редактора, которому показалось неэтичным испытывать сердечную недостаточность на выставке выдающегося французского художника.

Тогда мы вместе были на открытии выставки, было много народу. Духота, и Варламу Тихоновичу стало плохо: вижу, он бледен, и пот выступил на лбу. Но упорно и твердо говорит: «Все хорошо. Хорошо». С трудом его увела в другой зал, усадила, и он отдышался, пришел в себя. А потом написал стихотворение об этом.

Мы часто бывали на выставках — Матисс, Роден, Петров-Водкин, Пиросманишвили, Фальк, Пикассо, Ван Гог, Врубель… Просто ходили в Третьяковку, в Пушкинский музей.

Он не любил живописи передвижников. Считал ее дурной литературщиной. У живописи свой язык — краски. Вот ими и должна выражать себя душа художника.

Помню на выставке Петрова-Водкина мы спорили перед его «На линии огня», где люди с перекошенными лицами устремились вперед — убивать себе подобных, а убитый, приложив руку к сердцу, словно не падает, а отрешенно взлетает, и лицо у него — единственно человеческое среди всех.

У этой картины я сказала Варламу Тихоновичу, что и сюжет в картине важен, и он выражает мысль и душу художника. Варлам Тихонович яростно стал возражать мне, что, будь на этой картине только зеленая и красная краски — без сюжета, она волновала бы так же.

Также спорили мы и на выставке Родена у скульптурного портрета Бальзака. Варлам Тихонович утверждал, что портретное сходство с оригиналом совсем не нужно. Важно передать душу, ощущение художника от натуры. Я же говорила, что лицо и передает нашу душу. Что через тысячи лет нас волнуют черты реальных людей в фаюмских портретах больше, чем вневременной лик сфинкса. Сейчас, вспоминая лицо Варлама Тихоновича, я радуюсь, что некоторое сходство имеет и скульптурный портрет Ф. Сучкова, и живописный Б. Биргера, и кажется, что именно этим сходством уловлена и какая-то частица души.

Самым любимым художником Варлама Тихоновича был, пожалуй, Ван Гог, а любимым полотном — «Прогулка

заключенных». Думаю, что тут действовали не только краски, но и сюжет. И то и другое — и «что», и «как».

Варлам Тихонович с резким неприятием относился к толстовской традиции в русской литературе. Он считал, что Толстой увел русскую прозу с пути Пушкина, Гоголя.

В русской прозе превыше всех считал он Гоголя и Достоевского.

В поэзии ближе всего была ему линия философской лирики Баратынского — Тютчева — Пастернака. В его любви к Пастернаку было что-то умственное, если можно так сказать. Варлам Тихонович часто читал что-нибудь из «Сестры моей жизни» и говорил: «Какой взгляд! Я уж не знаю, как это можно, целые новые пласты втащил он в поэзию».

Это было профессиональным восхищением поэта. Но как-то глубоко душевно он любил Блока. Когда он читал Блока, то никогда не говорил о поэтических находках, а словно ощущал что-то свое, душевное свое в Блоке.

Иногда мне казалось — какие-то воспоминания молодости, эхо какое-то себя еще доколымского. Я об этом не выспрашивала — это столь тонкие ощущения, что их не надо высказывать вслух, переводить в слова. Только видела, как молодело, освещалось его лицо.

…И тотчас же в ответ
что-то грянули струны…

или:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего…

Тютчев все чаще лежал на его столе в 70-е годы.

О как на склоне наших дней
Нежней мы любим и суеверней…

и:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир…

Были любимые стихи и других поэтов, которые он часто читал: «Черный человек» Есенина, «Роландов Рог» Цветаевой, Ходасевича:

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу и лба не хмурю,
Ведь знаю — сердце все равно
Летит в излюбленную бурю…
Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья,
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье…

Я любила Гумилева. Это В.Т. раздражало. Вся эта Африка, экзотика — это дурной вкус. Хотя «Заблудившийся трамвай» он читал. Я же любила и «Эзбекие», и «Капитанов», и все «Жемчуга». Конечно, весь «Огненный столп». И часто читала Гумилёва.

Белокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель…

И однажды он переписал в Ленинке весь цикл «К синей звезде» и принес мне. Это был лучший подарок. Эта тетрадь и сейчас у меня. Я и сейчас люблю Гумилева.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под узцы коня…

Гумилев гораздо многомернее и глубже расхожего представления о нем. Никто так это не понимал, как Ахматова, которая в своих записных книжках написала: «Гумилев поэт, еще не прочитанный, и человек, еще не осознанный».

Мы даже «говорили» друг с другом стихами. Мы оба не любили объясняться.

Где-то в первые годы он показал мне Мандельштама:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать… —

и отвернулся почти со слезами. Это — его всегдашнее острое сочувствие женской доле. Я, правда, не ощущала ее как страдание и считала нормой и счастьем отдать себя детям, любимым. Тогда — это свойство отдавать, расточать себя казалось мне неисчерпаемым. Потом я убедилась, что физические и, главное, моральные, душевные силы имеют предел.

Настало время, и где-то в семидесятом году я показала ему тоже «со значением» Блока:

Суров ты был, друзей ты не искал
И не искал единоверцев,
Ты острый нож безжалостно вонзал
В открытое для счастья сердце…

А году в семьдесят пятом он сунул мне вдруг среди разговора томик Цветаевой и ткнул в строки:

Ты меня не любишь больше,
Истина в пяти словах.

Я прочитала, и мы продолжали говорить о каких-то пустяках.

Паблисити

Сколько громов и молний отсверкало в «Четвертой Вологде» по поводу пресловутого «паблисити», свойственного отцу Варлама Тихоновича! Какой панегирик тряпкам!

Все так. И все не так.

Очень были забавны и трогательны неожиданные проявления этого «паблисити» в самом Варламе Тихоновиче.

«Мой плащ, — серьезно и внушительно говорит он мне, — самый модный». Слово «модный» он произносит с каким-то щегольским прононсом. После паузы, строго:

— Черный плащ.

Речь шла о черной болонье, тогда, действительно, массовой одежде. Этот разговор возникал не раз, явно В.Т. гордился столь модной вещью.

Однажды я пришла к нему году в 70-м, наверное, а он как-то особенно празднично сияя, меня встречает в… ярко полосатых брюках, было тогда такое увлечение у мальчишек, но даже мои сыновья его избегли. В.Т. наставительно, несколько тщеславно, говорит мне:

— Я покупаю всегда самое модное. Самое модное.

Но видит, что на меня его модная покупка не производит впечатления. Он сразу сникает: «Тебе не нравится?» Я бормочу, что, мол, ничего — мне жаль его огорчать. Но брюки все-таки были забыты.

Однажды с волнением Варлам Тихонович рассказал:

— Прихожу в парикмахерскую, говорю, как меня подстричь. А парикмахер отвечает: смотрите, это будет стоить два рубля. Я не понимаю, по-моему, у меня вполне обеспеченный вид. Вполне обеспеченный.

Я его успокоила: конечно, вполне обеспеченный.

Одевался он всегда так: клетчатая рубашка, чешский или польский грубошерстный пиджак в крупную темную клетку или типа букле. Темные брюки, купленные отдельно. Отечественные ботинки. Летом — голубые рубашки навыпуск с короткими рукавами. Зимой — плащевка на меховой подкладке (это тогда стоило дешево), кроличья ушанка.

Помню, с каким удовольствием он вил гнездо, когда переехал в свою просторную комнату на второй этаж дома № 10 по Хорошевскому шоссе с первого этажа, где жил в крохотной комнатке квартиры Ольги Сергеевны Неклюдовой, своей второй жены. Как обсуждал со мной и покупал скатерть на стол, шторы

на окна, мебель — в комиссионке, раскладывал просторнее книги… А когда назначили на слом дом № 10, такими же заботами сопровождалось в 1972 году вселение в очень ему нравившуюся светлую просторную комнату в доме № 6 по Васильевской улице.

Обстановка ее была такова: квадратная комната, окно и балконная дверь, напротив — дверь в коридор, направо и налево от входа по стене — открытые книжные полки, просто крашеные доски, слева стояли полки с «Библиотекой поэта», вообще с поэзией. Далее по левой стене — высокие застекленные полки с архивом, поставленные друг на друга, шкаф для одежды, обеденный стол — почти впритык к балконной двери и шкафчик для посуды, продуктов — над ним. Перед окном — однотумбовый письменный стол. Далее по правой стене, в неглубокой нише — деревянная кровать, далее — опять открытые книжные полки. Свой угол, свой дом Варлам Тихонович очень любил. Крохотная территория независимости. А независимость — это главное в жизни, так он всегда говорил.

За это ценил и деньги — за независимость, которую они дают. «Если слава придет ко мне без денег, я выгоню ее за дверь». Но правда и другое:

И дружество и вражество,
Пока стихи со мной,
И нищенство и княжество
Ценю ценой одной.

Красная шапочка

Где-то году в 1968-м я пришла к Варламу Тихоновичу, и он сразу, с порога — как открытие, как вывод — очень серьезно и взволнованно, сказал: «Ты — Красная шапочка. В моей жизни были волки, были охотники, а ты — Красная шапочка».

Он очень серьезно относился к мифам, к сказкам, считая, что в них запечатлены какие-то вечные модели отношений между людьми. И эта «Красная шапочка» звучала как найденная формула наших отношений.

Но я всегда торопилась — дети, работа, дом, я только мельком спросила небрежно: «Почему Красная шапочка?» Не вникнув, а кто же он в моей сказке. Бабушка? А кто волк? А кто охотник? Не раз он называл меня Красной шапочкой. Может быть, за легкомыслие, с которым я пускалась в жизнь — лес, не думая о волках?

Что-то в этой сказке мне близко, хотя красной шапочки я никогда не носила.

Да будет мне всегда легка Неосторожная рука, Звенящая в звонок стиха…

Неосторожная рука… Теперь припоминаю, что Варлам Тихонович часто пенял мне на мою неосторожность. «Я удивляюсь, ты такая ловкая, быстрая — и такая неосторожная». То я влезала дома на две табуретки и с грохотом рушилась, то обдирала коленки, сбегая опрометью с эскалатора. Все торопилась. То резала палец, открывая банку. И так же легко, неосторожно расправлялась и с серьезными проблемами. Однажды я пришла, а Варлам Тихонович с гордостью торжественно показал мне порезанный палец (он открывал банку): «Как у тебя. Я подумал, что ты бы сделала так же».

«Никогда не воскреснет шоссе…»

Варлам Тихонович не любил перемен в своей жизни. Труден ему был и переезд на Васильевскую с Хорошевского шоссе. Там был кусок жизни — с 1956 года, там, во дворе, похоронена Муха.

И сейчас, когда я еду мимо места, где был дом № 10, я вспоминаю Муху, которая осталась здесь.

Небольшие, на четыре квартиры дома. Варлам Тихонович говорил, что ему кажется — это просто выгородка на берегу шумной реки — шоссе. Мимо окон всегда с гулом мчались грузовики, но это не мешало Варламу Тихоновичу.

На новом месте он, правда, быстро прижился. Вспоминаю, как мы весело убирали комнату после ремонта, как двигали мебель способом, которому научил меня В.Т. — садиться на пол и, упираясь ногами, двигать мебель спиной. Вселение в новую комнату сопровождалось и инцидентом: оказалось, что Фрунзенский исполком вселил В.Т. на площадь другого района. Ордер не регистрировали в исполкоме. В.Т. не прописывали недели две, я ходила по инстанциям. В.Т. был просто в истерике — он потеряет прописку в Москве, его выселят. В конце концов я пошла в исполком и сказала, что не уйду отсюда, пока дело не решится — я не могу сказать В.Т., что прописка еще откладывается. И бесславно расплакалась, просто убитая всеми проволочками. Дело решилось тут же. Ордер приняли.

Но бедняга — каким он чувствовал себя бесправным. Это ощущение бесправия вошло в кровь его. Сделать с человеком могут все: взять и вышвырнуть из Москвы. И тщетно я уверяла его, что дело только во взаимных амбициях исполкомов — он не верил в это.

Надежда Яковлевна Мандельштам

На стене комнаты Варлама Тихоновича, первой его комнаты, которую я увидела — маленькой, на первом этаже, — висели два портрета — Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны Мандельштам. В первом своем письме зимой 1966 года мне В.Т. писал: «Для всех я был предметом торга, спекуляции, и только для Н.Я. — глубокого сочувствия. Но и Н.Я…» (зачеркнуто).

Варлам Тихонович много рассказывал мне о воспоминаниях Н.Я., говоря, что это прекрасная русская проза, это глубокий и точный взгляд на время. Даже говорил, что Н.Я. не уступает в талантливости своему мужу. Надо ли говорить, что я заинтересовалась этой необыкновенной женщиной и попросила меня с ней познакомить. В.Т. обычно еженедельно бывал у Н.Я. Иногда с раздражением упоминал о «людях с кухни Н.Я.» (кухня, как я убедилась впоследствии, была гостиной Н.Я.).

Наконец в ноябре 1966 года я, по рекомендации В.Т., познакомилась с Н.Я. Сначала она мне показалась очень некрасивой, даже неприятной, но потом совершенно очаровала умением вести беседу, умом, тактом. Я не встречала более интересного собеседника. Видимо, с каждым она умела говорить на интересующие его темы. А со мной она говорила о детях («ведь я — педагог»), о литературных знакомых О.Э. и своих… Скоро В.Т., неудержимо расплываясь в улыбке, сообщил мне, что я Н.Я. очень понравилась. «И я, — вещал В.Т., — выразил свое глубокое удовлетворение». — «Можно бы обойтись и без этого», — сказала я к удивлению и растерянности В.Т.

С тех пор с Н.Я. мы более ограничивались кругом чисто профессиональных моих вопросов — судьбой архива О.Э., который был у Н.И. Харджиева, у Л.С. Финкельштейн.

Рассказывала Н.Я. и кое-что о себе и О.Э. Теперь, читая отрывки из первого варианта «Второй книги» («Литературная учеба», 1989, № 3), историю разрыва О.Э. с Ольгой Вексель, о сосисках Н.И. Харджиева, которыми кормил он Н.Я., и т. п., я понимаю, что эти отрывки она тогда как бы читала на слушателя. Думаю, что переделка «Второй книги» и уничтожение первого варианта тесно связаны с переоценкой личности Н.И. Харджиева прежде всего.

Мне она говорила: «Подумать только, эти сосиски я не могла забыть всю жизнь! Ну, я ему покажу! Он мне сказал — немного пожил бы Мандельштам, у него и другая жена была бы. Подумаешь — жена! А я у него один». Она была в бешенстве.

Думается, была она и ревнива, и нетерпима. И, как и собиралась, переписала книгу совсем в другой тональности.

Н.Я. передала в ЦГАЛИ несколько автографов О.Э. («Египетская марка», «Домби и сын», «Теннис»), фотографии. Я ей скопировала то, что было у нас.

В мае 1967 года она настоятельно пригласила меня к участию в операции изъятия архива у Н. Харджиева, обещав все передать в ЦГАЛИ.

«Он может уничтожить рукописи!» Мы ждали во дворе, пока Н.Я. поднялась к Николаю Ивановичу, но наша помощь не понадобилась — он отдал папку с рукописями Надежде Яковлевне.

Однако свое обещание она не выполнила. И когда я через полгода крайне бережно напомнила о нем, Н. Я. сказала мне: «Какое юридическое право Вы имеете требовать у меня архив? Я отдам его туда, где занимаются Оськой».

Я ответила: «Это Ваше право, Н.Я., и, сохрани Бог, я ничего не требую, я просто спросила, помня Ваше обещание».

Это был наш последний разговор с Н.Я. Больше она не приглашала меня к себе, как прежде, своими маленькими записочками.

Вскоре В.Т. спросил меня (после визита к Н.Я), обещала ли передать Н.Я. архив к нам. Я ответила, что обещала. Видимо, Н.Я. говорила с Варламом Тихоновичем на эту тему и говорила с раздражением.

А некоторое время спустя В.Т. спросил меня, что я думаю о Н.Я. Я сказала, что она умна, на редкость умна, но ей немножко не хватает благородства. И В.Т. вдруг стремительно заходил по комнате:

— Много, много благородства там не хватает. Я сказал ей, что не смогу больше у нее бывать.

Я пыталась его смягчить, убеждала, что ему нужен литературный круг, знакомства, общение, и круг Н.Я. — это интересные люди, это возможность говорить на темы, это…

— Не нужен мне никто, кроме тебя, — резко ответил В.Т.

В.Т. никогда не действовал половинчато. Рвать — так сразу и навсегда. Так он поступил с Г.И. Гудзь, первой женой, с О.С. Неклюдовой, второй женой, с Б.Н. Лесняком, своим колымским другом, с другими людьми и с Н.Я. — так же.

Конечно, были и глубокие причины у него для охлаждения дружбы с Н.Я. Как-то еще в начале 1967 года обмолвился о своих визитах к Н.Я. «Это нужно для моей работы». Думаю, что «нужность для работы» была в 1968 году исчерпана. Да и «болельщицкие», как говорил В.Т., наклонности Н.Я. его

раздражали, резкое размежевание — кто за нас, а кто за другую команду. Ему было тесно даже в команде умной, просвещенной, левой. Он не любил команд.

Галина Игнатьевна Гудзь

Собирая архив Варлама Тихоновича, я познакомилась с Галиной Игнатьевной Гудзь, его первой женой, году в 1969-м наверное. Я надеялась, что она сохранила колымские письма В.Т.

Это была милая, обаятельная женщина, небольшого роста, полная, с яркими черными глазами. К этому времени уже много знала о ней. Они познакомились во время первого заключения Варлама Тихоновича: Галина Игнатьевна приехала навестить своего мужа, тоже находившегося на Вишере, и тут, как рассказывал В.Т., — стремительный роман. Она бросает мужа… «Я считаю, что Галину я любил».

Возвращаясь в Москву в 1932 году, он уже возвращался к ней. В 1934 году был оформлен их брак, а в 1935 году родилась дочь Лена.

Были тогда и другие увлечения у В.Т. Даже сильные увлечения, но любви к жене это не поколебало.

— Я был очень самоотвержен в любви. Все — как хочет жена. Всякое знакомство, ей неприятное, прерывалось тут же.

Ее образ оставался с ним все страшные колымские годы. Ей посвящались стихи из «Колымских тетрадей» («Камея», «Сотый раз иду на почту…», «Модница ты, модница» и другие).

Она связала В.Т. с Пастернаком, переписка с Борисом Леонидовичем шла через Галину Игнатьевну.

Она встретила его на Ярославском вокзале 12 ноября.

И оказалось, что через семнадцать лет разлуки (и какой разлуки!) и перешагнуть любовь их не может — только память.

Хотя Галина Игнатьевна тоже была в ссылке в Чарджоу с 1937 по 1946 год, а потом бесправно, без прописки жила в Москве, перебиваясь случайными заработками, она не вынесла испытаний той непримиримости к насилию, которая не укрощена была у В.Т. даже Колымой.

«Давай все забудем, поживем для себя», — говорила она. И не одобряла «Колымских рассказов», за которые принялся сразу же после возвращения В.Т.

Для В.Т. это было главным делом жизни.

Твоей — и то не хватит силы,
Чтоб я забыл в конце концов
Глухие братские могилы
Моих нетленных мертвецов,

— писал он в стихотворении «Возвращение».

Жить им пришлось опять врозь. Он через день уехал в Конаково, а потом — в поселок Озерки Калининской области — в Москве ему было жить нельзя.

Дочь его писала в анкетах, что отец умер, училась в институте, вступила в комсомол. А тут является отец, еще не реабилитированный, и принимается опять за старое.

В.Т. с горечью говорил, что даже первую ночь в Москве провел не дома. Жена боялась привести в квартиру его, нарушителя паспортного режима. Провожая его в Калинин, она утешала:

— Зато как я писать тебе буду! Ну, держись, почта!

— Писать? Опять писать?

Он ждал чего-то другого, безмерно романтически приподняв образ этой милой обыкновенной женщины.

А у нее ведь на руках была дочь, обретенный, наконец, кров, работа. Бросить все и уехать с ним в полную и беспросветную неизвестность и нищету? У кого есть право осудить эту женщину? Кто столь высокого мнения о себе, чтобы требовать от другого — иди на Голгофу?

Пути расходились неудержимо. Хотя еще и были письма, были встречи… В июле 1956 года В.Т. был реабилитирован. 28 августа он написал Галине Игнатьевне письмо:

> «Галина. Думаю, что нам ни к чему жить вместе. Три последних года ясно показали нам обоим, что пути наши слишком разошлись, и на их сближение нет никаких надежд.
>
> Я не хочу винить тебя ни в чем — ты, по своему пониманию ты стремишься, вероятно, к хорошему. Но это хорошее — дурное для меня. Это я чувствовал с первого часа нашей встречи (зачеркнуто).
>
> Будь здорова и счастлива.
>
> Что есть у тебя из моих вещей (шуба, книжки, письма), сложи в мешок — я приеду как-либо (позвонив предварительно) и возьму.
>
> Лене я не пишу отдельно — за три года я не имел возможности поговорить с ней по душам. Поэтому и сейчас мне нечего ей сказать».

В октябре того же года он вернулся в Москву и женился на Ольге Сергеевне Неклюдовой, писательнице, и поселился в ее

доме. Разрыв этот был нелегок Варламу Тихоновичу. Это было крушением самой дорогой иллюзии, мечты. «Я так метался тогда по Москве. Так метался. Отчего ты тогда не встретилась мне? Я так тебя звал, так звал. Горы я бы своротил…»

Я же говорила, что всегда надо помнить, Галина Игнатьевна — это женщина, которая писала по сто писем в год на Колыму.

В 1979 году, тяжело больной, перед отправкой в дом инвалидов, он просил меня: «Привези, привези ко мне Галину. Скажи ей — мы вместе будем делать книжку. Это будет возращением».

Я позвонила Галине Игнатьевне, но она только оправлялась после инсульта и сказала, что приехать не может. Я позвонила дочери Лене, но она ответила мне: «Я не знаю этого человека».

Я ни в малейшей степени не осуждаю Галину Игнатьевну и Елену Варламовну. В этом случае судья — Бог, как говорится. Варлам Тихонович разорвал с ними отношения жестко и навсегда, и Лена, конечно, почти совсем его не знала и не могла питать к нему дочерние чувства.

Так он и не простился к женщиной, которую любил так долго и так верно.

Борис Леонидович Пастернак

Вновь и вновь возвращаясь к Варламу Тихоновичу, вспоминая его слова, его поступки, даже интонации, душевные проявления какие-то, я все чаще думаю, что ощущение мира у него было человека религиозного. Отсюда была и его жажда увидеть, узнать пророка, «живого Будду», как он говорил.

Таким живым Буддой долго был для него Пастернак. Будда в поэзии и в человеческих своих качествах. И все стремление В.Т. возвести на пьедестал, страстно обожествить живого человека не без слабостей, а обнаружив слабости, столь же яростно свергнуть — тоже было стремлением души, воспитанной в вере.

Переписка его с Борисом Леонидовичем стала предметом нашего обсуждения с В.Т. буквально со второй встречи в 1966 году. Пришлось мне под диктовку В.Т. записывать его воспоминания о Борисе Леонидовиче.

«Пастернак — величайшая поэтическая вершина XX века».

Но к этому времени, к 1966 году, Будда-человек был уже повержен с пьедестала. В одном из писем (к Г.Г. Демидову) В.Т. написал высокомерные слова: «Я хотел сделать из него пророка, но это мне не удалось».

С нотой пренебрежения говорил В.Т. о «покаянных письмах» Пастернака. Б.Л. не проявил душевной твердости, по словам В.Т. Если он пошел на публикацию романа на Западе, — надо было идти до конца. Либо ехать на Запад, либо дать оплеуху западному журналисту вместо интервью. Либо это, либо то. Не колебаться, бегать, советоваться, суетиться, то благодарить за премию, то от нее отказываться. «Плащ героя, пророка и Бога был Пастернаку не по плечу».

Бедный, он не думал, что и ему суждено испытать судьбу свергнутого живого Будды, пусть не столь шумную.

Но об этом, о трагедии 1972 года, о его письме в «Литературную газету», я расскажу отдельно.

Правы ли мы, возлагая на других людей долг быть нашими безгрешными идолами, опорой нашей душе, нашей нравственности, нашей вере? И не в себе ли самих мы должны искать и находить опору, веру, а если надо, и надежду?

«ПЧ»

Человек, сложившийся в 20-е годы, Варлам Тихонович часто употреблял аббревиатуры. В его записях 70-х годов, сделанных для себя, разговорах с самим собой мелькает часто упоминание о «ПЧ». «ПЧ» — «прогрессивное человечество». Варлам Тихонович, конечно, не имел в виду истинно прогрессивных общественных деятелей, но ту шумную публику, которая бурно примыкает к каждому общественному, в том числе и прогрессивному начинанию. У «ПЧ» — мало серьезного дела, много амбиции, сенсации, шума, слухов. Оно легковесно — дунь ветерок, и нет пышной и шумной деятельности этих прогрессивных деятелей.

«Я им нужен мертвецом, — говорил Варлам Тихонович, — вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН».

Только годы спустя я убедилась, как прав был Варлам Тихонович, как проницателен. Тогда к этим словам я относилась чуть скептически. Мне казалось, он преувеличивает, сгущает краски, когда говорит, что «„ПЧ“ состоит наполовину из дураков, наполовину — из стукачей, но — дураков нынче мало».

Он был прав. И стукачи его сопровождали буквально до смертного одра, до края могилы — меня позже просветил в этом отношении такой проницательный старый лагерник, как Федот Федотович Сучков.

1972 год

Книжку «Московские облака» никак не сдавали в печать. Варлам Тихонович бегал и советовался в «Юность» — к Б. Полевому и Н. Злотникову, в «Литгазету» к Н. Мармерштейну, в «Советский писатель» — к В. Фогельсону. Приходил издерганный, злой и отчаявшийся. «Я в списках. Надо писать письмо». Я сказала: «Не надо. Это — потерять лицо. Не надо. Я чувствую всей душой — не надо».

— Ты Красная шапочка, ты этот мир волков не знаешь. Я спасаю свою книжку. Эти сволочи там, на Западе, пускают по рассказику в передачу. Я никаким «Посевам» и «Голосам» своих рассказов не давал.

Он был почти в истерике, метался по комнате. Досталось и «ПЧ»:

— Пусть сами прыгают в эту яму, а потом пишут петиции. Да, да! Прыгай сам, а не заставляй прыгать других.

Я ушла. А через два-три дня В.Т. позвонил и попросил прийти. Я пришла и увидела на столе листы с черновиками письма В.Т. в «Литературную газету». Стала читать, вычеркивая совсем немыслимые пассажи: «меня пытаются представить резидентом…». Опять сказала: «Не надо посылать это письмо». Но не стала решительно настаивать, ведь такие вещи должен каждый решать сам. Просто повернулась и ушла.

А 23 февраля в «ЛГ» был опубликован краткий вариант этого письма. Для меня это было крушением героя. Я (вообще-то совсем не плакса) ревела целую неделю. Насколько умнее меня был мой сын Алеша, совсем тогда еще мальчик двенадцати лет. Он сказал:

— Мама, как ты можешь судить его, оставлять. Этого я от тебя не ожидал.

Вскоре позвонил В.Т., и я пошла к нему. Он встретил меня, буквально заливаясь слезами, говорил, что он не такой, каким я его себе представляла, что только в яму и должен был свалиться… В общем, тяжелая и грустная была встреча.

Я с трудом преодолела, а в полной мере уже никогда не преодолела какое-то отчуждение в себе. Не мне, конечно, было его судить. Да и кто в своем рассудке мог его судить? Говорят сейчас об «остракизме», которому он был подвергнут. Это, конечно, сплетни, сплетни «ПЧ». Какой остракизм?! Недавно дочь Г.Г. Демидова рассказала мне, в какой ярости был ее отец, когда кто-то при нем осмелился осуждать Варлама Тихоновича за это письмо: «Не вам, соплякам, судить этого человека!» Б. Полевой

прислал ему ободряющее письмо. Н. Столярова и Ф. Сучков пришли его ободрить, но он не пустил их в дом.

Все эти ободрения были пустяками для него. Самое страшное — собственное о себе мнение.

Реабилитация в собственных глазах проходила быстрыми темпами. Уже недели через две он говорил мне: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту».

— Ну, — ответила я жестоко, — не надо увлекаться. Этак и стукачей можно наделить мужеством.

И сейчас вспоминаю, как он смешался и замолк. Как сошла с его лица мимика убежденной кафедральности. Я почти никогда не бывала с ним резка. Три раза припоминаю лишь, когда я жестоко обошлась с ним. И жалею об этом.

А книжка «Московские облака» была сдана в набор 17 апреля 1972 года.

Три давления совместились в этом печальном инциденте с письмом: не печатали здесь, грозила полная немота; печатали там — жалкими кусочками, без согласия автора, «спекулируя на чужой крови»; немалую роль сыграло и раздражение против «ПЧ», против этой истеричной и глупой публики, толкавшей его на Голгофу.

Но, написав, что «колымская тематика исчерпана жизнью», он продолжал писать «Колымские рассказы-2». И впереди был 1973 год, который он называл одним из лучших, счастливейших в жизни. В этот год было написано особенно много стихов, несколько толстых тетрадей: «Топор» («Орудие добра и зла…»), «Стихи — это боль и защита от боли…», «Она ко мне приходит в гости…», «Мой лучший год…» и, наконец, «Славянская клятва». Клятва верности себе, делу своей жизни.

Серебрянный бор

Летом Варлам Тихонович любил ездить в Серебряный Бор. Там он купался и загорал. Плавал он хорошо, загорал совершенно неосторожно, дочерна. Изредка мы ездили купаться вместе. Он всегда бывал на том пляже, что на другой стороне Москвы-реки. Как он явно блаженствовал на берегу реки, как упивался своей ловкостью в воде, как остро наблюдал все происходящее вокруг. Рассказ «Жук» — о Серебряном Боре. Вот так, с пристальным вниманием к каждому человеку, к каждой травинке, букашке он всматривался в окружающее.

Однажды по дороге на пляж нас обогнали баскетболисты. Они шли, возвышаясь над всеми, отрешенные от пляжной суеты и о чем-то непонятном спортивном говорили. В.Т. сказал: «Инопланетяне».

Он любил реки, их вечное движение, их разговор. Он не любил холодное, серое Охотское море. Не очень понравилось ему море и в Сухуми, где он бывал у своей сестры, Галины Тихоновны Сорохтиной, в 1957 году.

В 1973 году он вступил в Союз писателей СССР и смог получать литфондовские путевки в Коктебель и Ялту, которыми вплоть до осени 1978 года неукоснительно пользовался. Комфортабельная писательская жизнь произвела на него сильное и приятное впечатление. Воображаю, как неуместно выглядел он на закрытом для прочих пляже. В 1974 году, отправляясь в Коктебель, он написал мне литературное письмо: «Я еду в Коктебель не для того, чтобы тревожить тени Волошина и Грина…» Это мне не понравилось. Какая-то чужая нота.

Крым я любила нежно. Мы с детьми в 60-е годы не один раз объехали его от Феодосии до мыса Сарыч. И почти вся моя переписка с В.Т. в 60-е годы — из Крыма и в Крым. Эти старые тропы, заросшие плоскими кактусами, развалины башен, застывшие камнепады, пустынные (тогда) берега. Я просыпалась утром рано, чтобы золотая дорожка от встающего солнца протянулась к моим ногам.

В.Т. не полюбил Крыма, не почувствовал его неизреченной древней прелести. Он не любил природу. Было какое-то глазное, рассудочное общение с ней. Любить — это, мне кажется, ощущать себя частью ее, растворяться, чувствуя свою связь с небом и землей. Он был внимателен к дереву и камню, наблюдателен, использовал природу, ее явления в своих стихах для передачи каких-то оттенков человеческих чувств, но потребности

душевного общения с природой у него не было.

Универсальное средство

В.Т. спросил меня однажды: «Ты думаешь — в лагере я ругался?» Я ответила: «Нет, наверное».

— Одним из самых отчаянных ругателей я был. И дрался. Тут в трамвае мне на ногу наступили, я такое выдал, парень в столбняк впал…

Плюха — была его универсальным, хоть и теоретическим средством решения всех проблем.

— Этой сволочи (ПЧ) плюху прямо на пороге дать — только так от нее избавишься…

— Встретил Молотова в Ленинской библиотеке. И — не дал ему плюху! Встретил — и не дал!

Даже буквально в последние дни он пытался, размахивая руками, отогнать от себя «наседку» в доме инвалидов: «Уходи, ты мне надоела!»

Плюха — моментальное решение проблемы, а это было в характере В.Т., не терпящем неясностей и проволочек.

— Все ищут во мне тайну. А во мне нет тайны, во мне все просто и ясно. Никаких тайн.

Тайн он не терпел, хотя, конечно, умел молчать, когда надо. Но всякие кивки, намеки, таинственные недомолвки безмерно его раздражали.

— Я привык с жизнью встречаться прямо. Не отличая большого от малого.

Был у него очень добрый друг и поклонник таланта — Яков Гродзенский. Жил он в Рязани. И была у него страсть объясняться с подтекстом. Дескать, я понимаю, сказать можно не все, но я понимаю. В.Т. жутко раздражался, хотя «Яшку» любил.

Однажды я пришла и застала В.Т. в глубокой молчаливой грусти (а молчалив В.Т. не был, всегда бурлила в нем жажда высказаться). «Яшка умер», — сказал В.Т. Было это, кажется, году в 1970-м.

Что он думал о себе

Его мнения о себе были столь же противоположны, сколько противоположностей заключал его характер.

Как-то я отозвалась хорошо о Юрии Осиповиче Домбровском. Он обидчиво и очень запальчиво сказал: «Я лучше всех людей!» Потом подумал и поправился: «Лучше меня только ты».

Что главное ценил в себе: верность, нравственную твердость («не предал никого в лагере, не донес, на чужой крови не ловчил»). Талант. «Я тот сапожник, рожденный, чтобы стать Наполеоном, как у Марка Твена. Я собирался стать Шекспиром. Лагерь все сломал».

Но иногда он впадал в уничижение и говорил иное: что он неблагодарный, капризный, и я думаю о нем гораздо лучше, чем он заслуживает. Что он растоптанный человек, собравший себя из кусков, что он непоправимо искалечен лагерем.

Готовя его рукописи к изданию, я вижу, насколько его стиль выражает его личность. Даже подбор любимых эпитетов: твердый, лучший, энергичный, любой, высший… Стремление к абсолюту, к невозможной непреложности, к высшей точке…

Таков и ты, поэт.

Страсть и рассудочность, стихия, поток — и самоограничение беспрерывное. Серьезность до последней мелочи. Полное отсутствие чувства юмора. Суеверный. Косноязычие шамана присуще порой его стихам — что-то с трудом пробивается в мысль, в слово, что-то, едва переводимое в слова.

Часто повторял слова — «его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба». Его судьба, несмотря на ее трагизм, оставляет ощущение какой-то пронзительной завершенности. Сбылось именно то, что должно было сбыться при столкновении этого сильного, твердого, несгибаемого человека и государства, и жизни такой, какая она была.

1976 ГОД

Жизнь сама подталкивала меня к какому-то решению. Я видела ясно, что и Варламу Тихоновичу нужна, наконец, определенность. Я понимала, что ему нужен друг, который целиком посвятит свою жизнь ему, и надеялась, что после моего ухода такой друг появится.

Последних жалких слов мы, верные себе, не произносили. Отмечали 10-летие нашего знакомства. И было мне очень больно, но как-то неотвратимо я чувствовала, что все кончено. И сказала: «Ну вот, все кончается так». Он сказал: «Это были десять лет жизни и счастья. Ты подарила мне десять лет жизни».

Потом, в письме из конвертика — «Экстренно, после моей смерти» — я прочитала: «Спасибо тебе за эти годы, лучшие годы моей жизни».

Это не значит, конечно, что мы не встречались больше. Я навещала его иногда, были письма, звонки. И свою книгу «Точка кипения» он прислал мне в октябре 1977 года с надписью «Моему верному товарищу и другу с глубоким волнением». Приходя изредка, я встречала у него женщину, которая за определенное вознаграждение (которое ему казалось большим, а ей недостаточным) иногда убирала и готовила для него. Но к 1979 году ему уже нужна была не просто приходящая время от времени помощница, а постоянная сиделка.

1979 ГОД

В апреле 1979 года он срочно вызвал меня, сказал, что собирается в пансионат и попросил взять весь архив, который оставался. «Воруют», — сказал он. Я взяла все. Он спросил: «Как твои дети?» Я промолчала. А он сказал: «Ты думаешь, мне это неинтересно». И заплакал. «Я думал, ты ко мне приходила. Показалось — звонят, я выскочил — никого. Я — к окну, и увидел женщину с двумя детьми. Мне показалось, что это ты зашла по дороге в зоопарк». Я говорю: «Мои дети уже выросли и не ходят в зоопарк. Они уже выше меня». Но он не поверил, для него я так и осталась молодой матерью, и малыши прижимались ко мне с двух сторон, держали меня за руки.

Я обратилась 17 мая 1979 года к тем, кто изъял часть архива В.Т., и они после переговоров 8 октября 1979 года вернули рукописи четырех сборников «Колымских рассказов» (все это было документировано). Лишь много позднее, когда я закончила разборку и описание большого архива В.Т., я поняла, что возращено не все. Но В.Т. уже не было в живых. Похищены были и мои письма к В.Т., к счастью, только письма 70-х годов.

Конечно, похищена незначительная по сравнению с основным фондом часть архива, в основном машинописные экземпляры рукописей. Однако, возможно, что исчезли и варианты с какими-то разночтениями, которые необходимо изучать в процессе текстологической работы. Пропали также и некоторые толстые тетради со стихами, где заключались первоначальные варианты стихов. Запись стихотворения в такую тетрадь Варлам Тихонович считал истинной датой стихотворения. Утрату этих тетрадей Варлам Тихонович считал невосполнимой. И я, конечно, виновата в том, что не обнаружила ее сразу же, не разобрала архив сразу.

Конечно, следовало бы этим людям все возвратить в архив, в фонд Варлама Тихоновича, но теперь, в отличие от 1979 года, они утверждают, что рукописи были подарены…

Премия Свободы

Он диктовал мне стихи, прорвавшиеся к нему сквозь неустойчивую, глухую темноту мира, сквозь косноязычие и скудеющую память:

Человеческий шорох и шум
Предваряют мое пробужденье,
Разгоняют скопление дум,

Неизбежных в моем положеньи.

Это, верно, сверчок на печи
Затрещал, зашуршал, как когда-то.
Как всегда, обойдусь без свечи.
Как всегда, обойдусь без домкрата.

Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется. Даже лежа он чувствует, что мир вокруг гудит и качается.

Союз с бессмертием непрочен,
Роль нелегка.
Рука дрожит и шаг неточен,
Дрожит рука.

Я входила в этот дом, пропахший беспомощной и беззащитной старостью, под блеклыми взглядами старушек и двух мальчиков в креслах-каталках я поднималась на третий этаж, открывала дверь 244 палаты. Он лежал, сжавшись в маленький комок, чуть подрагивая, с открытыми незрячими глазами, с ежиком седых волос — без одеяла, на мокром матрасе. Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас — чтоб не украли. Полотенце завязывал на шее. Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно — чтоб никто не опередил.

Здесь ему нравилось. «Здесь очень хорошо. — И очень серьезно, весомо: — Здесь хорошо кормят».

Маленькая отдельная комнатка с широким окном, тишина, отдельный санузел («это очень важно»), тепло, еда — вот этот скудный рай последних его стихов.

Не буду я прогуливать собак,
Псу жалко
Носить свое бессмертие в зубах,
Как палку.
В раю я выбрал самый светлый уголок,
Где верба.
Я сердце бросил — он понюхал, уволок,

Мой цербер.
Кусочек сердца — это ведь не кость,
Помягче — и цена ему иная.
Так я вошел, последний райский гость,
Под своды рая.

Но и здесь, в этом жалком раю, где обитает его бедное тело, жива душа поэта, ощущающая большой мир, живо и его неутоленное честолюбие. Он жаждет славы, денег — «золотого дождя»…

1 июня 1981 года я пришла его порадовать — французское отделение Пен-клуба одарило его премией Свободы.

Я подхожу к кровати и беру его за руку, он всегда узнает меня по руке, на ощупь.

Он долго и трудно усаживается на стул у тумбочки.

— День, день какой?

— 1 июня, понедельник! — кричу я в бескровное, сухое ухо.

— Час, который час? Але! Час который? Але!

— Пять, пять часов! Премию, премию дали! Премию!

— Премия — деньги! Але! Але! Премия — деньги!

— Во Франции!

Он понимает и теряет к премии интерес.

Я приношу ему том «Колымских рассказов», изданный в Лондоне, — мне дал его для В.Т. Гена Айги. Он медленно ощупывает книгу: «Я понимаю, что издали Там, — говорит он равнодушно, — но ведь должны быть деньги».

Из «золотого дождя» от изданий за рубежом на него не упало и капли, которая облегчила бы его старость. Вот публикация в «Юности» его волнует. Я собрала кое-что из его старых стихов и отдала Натану Злотникову.

— Номер? Номер какой?

Я еще не знаю точно, но кричу наудачу — седьмой. Публикация вышла в восьмом номере. Это была его последняя радость. Он беспокоился, чтобы заказали заранее авторские экземпляры. Это — последний журнал, который он гордо дарил посетителям. А я не взяла, чтоб у него остался еще лишний экземпляр для подарка.

Жизнь его подошла к концу. Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки…

Он видел то, чего не видели мы, чего не должны видеть люди, чего не должно быть. И это отравило его навсегда. Тень лагерей настигла его. И кусочки личности, сцементированные волей и

мужеством, распались.

И вот — лето 1981 года, последнее лето его жизни, принесшее ему премию Свободы. Он диктует стихотворение, последнее стихотворение обо мне:

Яблоком, как библейский змей,
Я маню мою Еву из рая.
Лишь в судьбе моей — место ей,
Я навек ее выбираю.

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну,
В наших днях, словно в срезе пня,
Закодирована не случайно.

Я всегда приносила ему любимое — яблоки, вафли, еще любил он пастилу, зефир. Однажды он спросил меня: «А где пастила?» Я говорю: «Нет ее в магазинах». — «Ну, сходи сейчас, купи». — «Ее нет, не продают». Он понурился. И вижу, думает, что мне не хочется идти. Но яблоки, к счастью, были всегда. Яблоки он бережно ощупывал бережно, серьезно укладывал в тумбочку. Они я думаю, и дали толчок стихам. Всегда какая-то мелочь, деталь включала этот поток стихотворения. И последние стихи из новых (он часто диктовал и варианты старых):

Я на бреющем полете
Землю облетаю,
Всей тщеты земной заботы
Я теперь не знаю.

Зиму он не любил никогда. Все аресты его были зимой — 19 февраля 1929 года и в ночь с 11 на 12 января 1937 года. Зимой он часто простужался, болел.

Последний раз я увидела его, когда пришла поздравить с Новым годом. Он, как всегда, узнал меня по руке и, усевшись, умостившись на стуле, продиктовал воспоминания о Б. Полевом. Бедная «наседка» металась не понимая ни того, что он говорил, ни того, что я писала (стенографировала). Потом продиктовал последний вариант стихотворения «Голуби». Это было все.

15 января 1982 года его непрочный бедный рай разрушили — перевели в другой, психо-неврологический дом инвалидов. Определенную роль в этом переводе сыграл и тот шум, который подняла вокруг него со второй половины 1981 года группа его доброжелателей. Были среди них, конечно, и люди действительно добрые, были и хлопотавшие из корысти, из страсти к сенсации. Ведь именно из них у Варлама Тихоновича обнаружились две посмертные «жены», с толпой свидетелей осаждавшие официальные инстанции.

Бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу. И я не умела это прекратить. Только могла отстраниться. А дирекции пансионата это шоу было ни к чему. Время тогда было другое, а «доброжелатели» не щадили Варлама Тихоновича, организуя эту сенсацию с фотовспышками, записями голоса, письмами на Запад, обзваниванием левых деятелей.

17 января 1982 года он умер. Умер на руках чужих людей, и никто не понял его последних слов.

Были похороны — дело суетное. Чужие возбужденные лица — попавших в сенсацию людей. Много спектакля. Я ему все говорила про себя: «Не бойся, я с тобой». У меня было ясное ощущение его присутствия. Покой был на его мертвом лице. Я положила в кармашек его пиджака наш талисман, который он мне подарил давно («чтоб всегда был с тобой») — маленького моржика, вырезанного из моржового клыка.

Прощай, мой друг.

Переписка

К сожалению не все письма В.Т. я сохранила. Когда я уезжала, он писал мне каждый день, считал, что только так и можно переписываться, чтобы тонкие сердечные, душевные связи не рвались и не охладевали за месяц-полтора разлуки.

Встречаясь со мной после такой разлуки, он тревожно вглядывался в мое лицо и потом облегченно говорил: «Ну, слава богу, все, как прежде».

Увы, я всех писем не могла сохранить — негде было. В доме — ни одного ящика, шкафа, куда шаловливые ручонки детишек не влезали бы, а еще — хомячки, морские свинки, птицы, кошки… Дети несли в дом больных кошек, голубей, как-то принесли ястреба, которого били вороны… Негде мне было хранить заветные письма. Я твердой рукой архивиста оставила интересные литературные и истребила более личные, сохранив все-таки два-три (его и свои), которые было очень жаль уничтожать. Писал он хорошо, и мне сообщал, что мои письма «на пять», и это мне не понравилось. Мои письма были непосредственны, и никаких литературных целей не преследовали. Они тоже не сохранились.

Только очень дорогие мне — по живой моей любви к Крыму, — я оставила себе.

В 1976 году, уходя от него, я попросила отдать мне наши письма — как-то больно было, что они могут попасть в чужие руки. Оказалась я предусмотрительной: действительно поздние письма мои попали в руки Л.В. Зайвой,[1] о чем она мне и сказала, но я не стала вступать в переговоры, уж очень мне казалось недостойным всякое общение с ней.

Наша переписка с В.Т. велась в основном в летнее время, когда я уезжала с семьей в отпуск, да еще когда у меня была возможность получать письма, т. е. мы были в «недиком месте» и пасли детей по очереди с мужем — чтобы они провели у моря два месяца.

Потом мы переключились на байдарочные походы — Валдай, Волга, и уже никаких писем я получить не могла, иногда лишь бросала открыточку, когда мы проплывали село.

Мы познакомились 2 марта 1966 года, а летом я уехала, написала ему три письма о Крыме, а когда вернулась и пришла к нему, он распахнул дверь рывком, и я очутилась неожиданно в его страстных объятиях, даже растерялась несколько.

Так началась наша любовь. Уже в Доме инвалидов он продиктовал мне стихи:

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну,
В наших днях, словно в срезе пня,
Закодирована не случайно.

Я долго колебалась — публиковать ли эти письма, а потом решилась. С одной стороны, слишком интимные письма («тайна») уничтожены, а то, что осталось, это такая существенная сторона и его, и моей жизни.

Я любила В.Т. — он додавал мне то духовное, высокое, чего не было в родственной, нежной любви мужа. Вспоминаю, как муж за несколько дней до смерти (26 октября 1995 г.) сказал мне, обнимая меня у плиты на кухне: «А знаешь, я теперь люблю тебя еще больше, чем в молодости». Так и было. Но ценила я эту преданную любовь недостаточно, слишком привыкнув к семейному амплуа «обожаемой жены и матери». Только лишившись этой ежедневной заботливой, родной, ежедневно обожающей любви, я поняла, как много она для меня значила.

А В.Т. напоминал мне пастернаковское — «Любимая, жуть, когда любит поэт…» Любовь В.Т. была как гроза, как землетрясение, его страсть, его мысль возносили меня на такую высоту!

И все равно — муж, дети, семья — это был родной и привычный мир. А В.Т. — как метеорит пролетел в моей жизни, изменив и осветив ее своим космическим светом.

В.Т. настаивал, чтобы встречались мы еженедельно, но вскоре сказал, что не может видеть меня так редко, а я не могла приезжать чаще. И тогда он раз в неделю стал приезжать к аптеке на ул. Куусинена, в двух остановках от моего дома. И минут 15–30 мы прогуливались по Всехсвятской, ныне Березовой роще.

Там он сказал мне: «Я люблю тебя» — с такой эмоциональной напряженностью, которую я и сейчас ощущаю, как электрический разряд.

Вскоре он меня вознес на пьедестал непомерный — и красавица, и разумница, и вообще лучше и нужнее всех на свете. Ко всему привыкаешь, и я на пьедестале стала чувствовать себя вполне комфортно.

Любовь не ищет равенства, но устанавливает его. И скоро я, смотревшая на него снизу вверх, освоилась с глубиной его личности, напряженной страстностью суждений. А он обсуждал

со мной все — читал новые стихи и рассказы, письма, рассказывал о планах на будущее, прочитанных им книгах. Мы и читали по очереди все книжки.

«Ты — к счастью», — он был суеверен. Наше разногласие единственное — его письмо в «ЛГ» 15 февраля 1972 г. Я советовала не писать его, но он сказал, что должен спасти свою книжку «Московские облака». Правда, это разногласие, единственное и последнее, было началом спада наших отношений. Но это было после.

В.Т. жалел, что мы встретились поздно, что я крепко, нерушимо завязана в плотную жизнь большой своей семьи. Он хотел, чтобы я ее оставила, считал, что я растрачиваю на семью свою собственную одаренную натуру, а жертвовать своей судьбой, собой — грех.

Я же считала это обычной судьбой женщины и матери и не могла уйти к нему, оставив мужа, сыновей, родителей. Это ведь тоже была бы жертва своей жизнью.

Вот и сейчас, оглядываясь в прошлое всеми чувствами и мыслями, я понимаю все то же — я не могла пожертвовать своей семьей, избавить В.Т. от страшной, беззащитной старости.

А он говорил: «Ты приносишь мне саму жизнь, пока ты со мной, со мной ничего не случится. Когда мы будем вместе?»

Мы говорили часами и не могли наговориться — то спорили об искусстве и наших предпочтениях: я любила Гумилева, он считал, что его испортило влияние Брюсова и т. п. Он отрицал сюжет в живописи, я говорила, что он есть и в его любимой «Прогулке заключенных» Ван Гога. Говорила, как его «первочитатель», что его рассказы кое-где надо бы почистить — грамматически отточить. Как я теперь понимаю, что шероховатости были нужны для подлинности, первозданности вещи… А тогда он написал мне большое письмо (1971), которое я публиковала под условным названием <«О моей прозе»>.

Это и было эссе, где он втолковывал мне разницу между прозой XIX века и XX. Мне казалось, что надо бы после того, как рассказ вырвался из души, мозга, стал объективным фактом литературы, надо бы его кое-где поправить, отшлифовать. Я была не права. Эти шероховатости прозы придают ей ту достоверность, эмоциональность, которую всякая шлифовка уничтожила бы. Вот он и написал мне большое письмо о своей прозе.

Письмо твое к ногам упало,
И вырвано у смерти жало…

А на фотографии своей написал: «Ире, хозяйке моей судьбы». Нет, этот высокий сан принять я не могла.

Сначала он говорил: «Я не хочу быть тяжестью для тебя». А потом зависимость от меня возрастала и душевная, и физическая. Помощь была нужна не еженедельная, а ежедневная.

Мне снились сны, что он меня ищет, идет за мной какими-то темными переулками, а я убегаю. Ему тоже снился сон, что его сбила машина, а я отскочила. Но и во сне не усомнился он во мне.

Тяжело было его оставить и немыслимо тяжело взять на себя его житейские проблемы, непосильно. Читаю письма конца 70-х, его попытки вернуть меня, в тетрадках его читаю стихи, мне посвященные и нашим свиданиям у аптеки. И слова: «хранил след твоей руки…» Да, даже в интернат он захватил «медведиков» — мной подаренных, забавное семейство из керамики, но, кажется, это были белки.

Действительно, он хранил лепестки пионов, которые я ему дарила, мои тапочки, волосы, оставшиеся на расческе. «Я все, все помню…»

Я не думала, что он любил меня так ***глубоко, я думала — поэзия заменит утрату, да еще если будет домработница — все будет хорошо.***

Я-то была всем — и Беатриче, и поломойкой, и душевным другом, и целительницей… В Италии встречали меня поклонники В.Т. — «О Беатриче, Беатриче!..» В.Т. там называют Данте XX века.

Русская женщина, увы, не то что неземной образ, она все — сумки, уборки, душевное понимание, разговоры, дети, любовь, лечение и т. п. и т. п.

Начиная с 1968 года он заводит речь о замужестве. Сначала хотел, чтоб я просто ушла к нему, но я решительно не хотела оставить детей, а он говорил, что «трое — это ад». А уж пятеро!.. Потом был согласен и на троих детей, но это было невозможно — трое шумных ребятишек в комнате поэта. К тому же они любили своего отца, а он их без меры.

И вот передо мной уцелевшие от аутодафе его и мои письма.

Первыми записками, сохранившимися у меня, были посвящение мне «Левого берега» и дарственная на тетради «Колымских рассказов». Я высоко оценивала его прозу, ее именно художественные достоинства, и В.Т. сказал, что хочет, чтобы лично я, а не ЦГАЛИ, была хранительницей его архива. Я сказала, что это невозможно; в моем доме совсем нет условий для

хранения рукописей. Рукописи просто негде разместить, к тому же их могут сгрызть хомяки, морские свинки, и я решительно настояла, чтобы он согласился передать их в ЦГАЛИ — температурно-влажностный режим, недоступность для пыли и т. д.

Он спросил, какой сборник мне больше нравится, и я ответила — «Левый берег». Он и написал посвящение, которое публикуется теперь при изданиях его рассказов: «Ире — мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке «Левый берег».

Это все — начало 1966 г., весна, лето. В июне я уехала в Крым, под Алушту, с детьми и мужем, В.Т. не мог писать мне, но я ему написала три письма, за которые и получила «высший балл».

И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 31.05.66

Дорогой Варлам Тихонович!

Как Ваше здоровье? Навестила ли Вас Туся?[2]

Впрочем, все равно Вы не сможете мне ответить: завтра мы откочевываем на новое место.

Сейчас мы находимся недалеко от Алушты, а двинемся по направлению к Ялте. Господи, какая скука на курортах! Я не дождусь, когда мы доберемся до необитаемых мест.

Только раз, когда запрыгали у горизонта дельфины, я обрадовалась, словно увидела милых и знакомых существ. Вообще у меня такое чувство, что я когда-то была дельфином, и мне только надо выбрать скалу повыше и нырнуть поглубже, и я выплыву чудесным дельфином.

Я даже сочинила песню. Я всегда сочиняю для себя песни. Просто, когда одна, я становлюсь на камень и начинаю тихонько петь — сама приходит мелодия и слова. Конечно, для других, вероятно, мои песни не годятся, но мне они нравятся, вернее не они, а то, что стоит мне припомнить какую-нибудь песню, как ко мне возвращается тоже настроение или чувство, которое было когда-то. Впрочем, обычно я помню одну-две последних песни, а остальные забываю.

А сейчас стоит мне повернуться лицом к морю, как я слышу….. свою песню о том, что я — дельфин. И хорошо быть дельфином. И хорошо плавать в море. А когда-то давно я была человеком и ходила среди людей. Были у меня добрые и верные друзья. Но ведь они не были раньше дельфинами и не понимали дельфиньего языка, в котором нет слов, а только звуки. Хорошо, что я опять вернулась в море. И рядом со мною плывут дельфины, которые понимают мои неуловимые мысли, хотя я не говорю слов.

Ой, мне даже стыдно, что я это написала. Но Вы ведь понимаете язык дельфинов? Должно быть, все это нелепо, ну и пусть.

Эти мои нелепые «песни», должно быть, виноваты в том, что я не очень люблю поэзию. Мои чувства выражаются, как у дикаря, импровизацией, а не как следует цивилизованному человеку, — чужими прекрасными стихами.

И вообще немного книг, которые стали внутри меня, многие прошли только снаружи. И внутри — только «Пармская обитель», несколько стихов Гейне и Блока и еще кое-что, что стало моей

биографией, моей собственной жизнью.

И еще — всегда-всегда, я помню моего викинга. Всегда-всегда. Всего доброго! Не болейте, пусть Вам хорошо работается.

Ирина.

Ирина. И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 07.06.66

Дорогой Варлам Тихонович!

Как Вам живется и работается? Надеюсь, что все хорошо.

Я совсем одичала и счастлива. В сущности, совсем немного надо для счастья: чтобы было тепло, чтобы была вкусная еда и чтобы было еще что-нибудь большое, что любишь — человек, лес или море, или работа, как у Вас. А все остальное — от платьев до эстетики — это выдумки цивилизации.

Посмотрели бы Вы, как я выгляжу теперь! Мой «выходной» наряд состоит из шортов и кофты, не обнаруживающих даже отдаленного знакомства с утюгом. К нему очень идут мои полукеды, которые выглядят так, словно в них совершили кругосветное путешествие.

О будничном наряде и говорить нечего.

Живем мы в лесу на берегу моря. Очень много здесь всяких тварей: птиц — соловьев, щеглов, синиц; ежей, ящериц. Только желтопузики своим сходством со змеями меня немножко пугают. А они, противные, еще отличаются общительным характером.

Ничего не читаю — ни газет, ни книг, не веду никаких бесед — ни умных, ни заумных, но мне не скучно.

Все время смотрю, слушаю, дышу, трогаю море.

Я хотела бы всегда жить у моря.

Странно? У меня всегда было словно два слоя жизни — первый видимый, состоящий из реальных событий, людей, отношений, а второй — выдуманный, который всегда был, но иногда мне казалось, что он не нужен, что это даже некоторое предательство по отношению к первому.

Но сейчас первый совсем пропал, провалился, исчез, я совсем не чувствую себя человеком этого первого мира реальных вещей. А второй стал единственным. Должно быть, благодаря этому второму я и осталась в сущности такой же, какой была в 16 лет. Конечно, это нелепо, я очень долго старалась придушить в себе весь этот фантастический мир, но он жил, хотя я этого не хотела.

Но теперь я рада, что не смогла уничтожить его. Он принес мне большее счастье, чем все реальные, хорошие события.

Прошло всего несколько дней, а мне кажется целая вечность прошла с тех пор, как я уехала из Москвы. Даже невероятно, что когда-нибудь я вернусь. Настолько сейчас я живу естественно, так, как мне нужно жить, что кажется глупейшей выдумкой

возвращение к большим домам, платьям, архиву, скучным людям. Конечно, к Вам это не относится. Вы похожи на море.

До свидания!

Ира.

P.S. Все это пустяки, что я написала прежде, а главное вот что: здесь неподалеку есть каменная осыпь. И между огромных серых глыб там живут красные маки. И если смотреть сверху, то море у берега прозрачное-прозрачное-прозрачное, а вдали голубое. Я люблю приходить на это место. Там никого нет, и я думаю, что здесь хорошо жить, что здесь естественно утром ходить за холодной водой и неестественно читать «Литературку» (принес внимательный супруг), где какой-то недомыслящий учит, как писать рецензии на стихи. Как будто они вообще нужны — рецензии! Каждый большой поэт — это целый особый мир, и то, что вы любите говорить о Пушкине, применимо к любому. Если тебе этот мир хоть немного близок — ты полюбишь эти стихи и поймешь, а если нет, то этому горю не помогут рецензии.

Вы говорили как-то о взаимной нетерпимости талантов. Это верно, как мне кажется, в том случае, если таланта больше в человеке, чем ума, как у гения. А ведь бывает и наоборот? И тогда вероятно, можно понять, что другой поэт видит мир иначе, и простить это.

Я говорю, конечно, о талантах, а не о литературной публике. Не люблю я эту комариную толчею. И рада, что Вы не имеете к ней никакого отношения.

Союз — не Союз, карьера — все это такие пустяки для настоящего писателя. Все это смешно! Как звучало бы — Союз пророков. Каждый творит в одиночку, и один отвечает за все, что написал.

Ну вот, я увлеклась, письмо кажется бесконечным, но я надеюсь, что Вы дочитаете его.

А вообще нетерпимость нужна только к себе самому — нужно твердо знать, что тебе нужно и чего не надо, и не быть всеядным. А другие — ведь они другие. Каждый живет в меру своих сил и масштаба. Ведь есть же люди-орлы и люди-мыши. Нельзя, чтоб все были орлами.

Мне кажется, что Вы нетерпимы к людям. Или не так? Но Вам лучше знать, каким Вам быть. Я терпима к людям, отчасти просто из-за равнодушия, но доброжелательного равнодушия. Очень к немногим я отношусь как-то ярко — люблю или не люблю.

Ну, я совсем зафилософствовалась.

Сегодня мы опять уходим. Мне жаль камни и маки. Когда я с ними, мне все кажется, что я знаю что-то самое главное. А потом

обнаруживается, что ничего не знаю.

Поднялся ветер. А недавно был штормик, было прохладно и ясно, и линия горизонта была в зазубринках, как пила. Я впервые заметила это.

Всего Вам доброго! Самого доброго.

Ирина.

Пришла я к В.Т. после отпуска, и он неожиданно встретил меня такими словами, что я растерялась. Стали мы встречаться регулярно, потом вернулась с дачи Ольга Сергеевна, с которой он был разведен, но поневоле жил в одной квартире.

Опасаясь ее любознательности, мы переговаривались записками, для вида листая книги. Мне как-то неудобна была эта конспирация, и я написала что-то в том роде, что не хочу осложнять ему жизнь. Ответная его уцелевшая записка сохранилась.

В 1967 г. мы опять уехали в Крым, расположившись около турбазы Карабах, рядом был каменный застывший поток Биюк-Ламбата, цвели маки, полберега Крыма — на горизонте Судак, крепость — открывались глазу. Так было блаженно, так просторно, беспредельно…

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

1966 г.

Ире — эти скромные школьные тетради с «Колымскими рассказами».[3] Надо только знать, что я пишу об этом подземном мире не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвил — о море. Тема же лагерная — это такая тема, где встанут рядом и им не будет тесно— сто таких писателей, как Лев Толстой.

В. Шаламов.

Записка В.Т. Шаламова

осень 1966 г.

Спасибо тебе за это письмо, за все. Тут дело не в том, что ты меня от кого-то отнимаешь, а совсем-совсем в другом.

Ты не должна думать, что я приношу какую-то жертву — я делаю так, как умею, как сердце мне подсказывает, и не хочу быть тяжестью для тебя.

Ты даешь мне ту жизнь, то понимание моих задач и моего маленького дела в жизни, которого не было ни у кого из моих друзей.

Для всех я был предметом торга, спекуляции, реже интереса, и только в случая Н.Я. — глубокого сочувствия.

Я очень долго проболел из-за каприза О.С., из-за того, что просквозило во время…

Я знаю очень хорошо многих знакомых моих, все они не стоят твоего пальца, ни по серьезности чувств,

ни по уму, ни по верности суждений.

Мне кажется что встречаться раз в неделю не часто — и я люблю тебя.

О.С. ничего, конечно, мне не говорила о разговоре с Наташей. Да и странно бы было. Ведь мы разведены. Все будет так, как хочешь ты — для меня же ты — лучше всех на свете, нужнее всех на свете и почему я должен отказываться от своего счастья — первого, может быть, в жизни, в его искренности, подлинности…

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

Ире — мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке «Левый берег». С любовью.

В. Шаламов.

Март 1967, Москва

И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 06.67

Дорогой Варлам Тихонович!

Выполняю свое обещание — написать Вам о своем крымском житии.

Все прекрасно, но что-то не так. Я хожу, узнаю камни, кусты, деревья, но какой-то полноты ощущения не хватает. Вероятно, никогда не надо возвращаться в те места, где было очень хорошо. Сейчас смотрю (я сижу у огромного, торчащего, как палец, камня) в просвет между кустами и камнем — там море, голубое, любимое, но во всем этом — воспоминание о прошлом лете, когда я была так чрезмерно счастлива, словно передо мной распахнулось такое же огромное голубое будущее. Теперь это предчувствие будущего исчезло.

Что будущее — всего лишь повторение настоящего и прошлого. Но все равно прекрасно. По камню ползет зеленая ящерица. В расщелинах растет трава. Цветет шиповник и маки. И море все в мелких складочках маленьких волн.

Наверное, не надо ничего ждать в жизни — необыкновенного события, не надо жить в вечной готовности к счастью. Все это так не ново, что даже скучно. Это остатки цивилизации. Скоро я загорю, меня закачает море, я одичаю и буду жить в счастливом блаженном отупении. Как пахнет море! Сказкой, кораблем, водорослями, дальними путешествиями. Сегодня набрала в рот соленой воды, а потом облизала губы — они соленые. Так замечательно. А дельфинов не видно.

Нет, я права — надо жить просто: есть, пить, сидеть у моря, кормить детей, стирать носки. Не знаю, зачем человеку размышление. Растут же просто так деревья, и море живет, не размышляя, и камни.

Вам тоже надо отдыхать от Москвы. Это такое раздражающее убожество — автомобили, трамваи, много домов.

Кто это хотел заново родиться деревом? Я тоже не хотела бы быть человеком, а деревом или камнем у моря.

Сколько какого-то жалкого, смешного, злого в человеческой жизни. И как мало доброй разумности, умения строить свою жизнь в соответствии с тем сознанием главного, которое должно бы быть в каждом человеке. Да все это я уж говорила, но это не мысль у меня, а чувство. Наверное, мысль тогда и приобретает

ценность, когда становится чувством. И если не так — это лишь словоблудие.

А как Вы живете? Как пишется? Как здоровье?

Всего доброго.

Ирина П.

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

Москва, 14 июня 1967

Дорогая Ира.

Получил твое письмо и написал маленький ответ. И отослал. Письмо написано неуверенно — это потому, что ты еще не свыклась с новой и радостной природой крымской, еще не уверена, что будет тут у моря, на берегу моря, так же хорошо, как было прежде. В дальнейшем либо ты полюбишь Крым еще больше, либо море разонравится и не сможет победить, рассеять все дурное, все смыть, все ненужное, неважное.

Но скорее всего будет так, что море снова покажется своим, самым лучшим местом на свете (кусочком страны Бимини[4]) и тогда можно будет жить на берегу сколько угодно, не мечтая о возвращении к цивилизации.

Я мало жил у моря. Да моим символом вечного движения были большие реки — на берегу многих рек я жил, был. Реки для меня были силой и символом вечного, неуклонного движения вперед, учили победе, терпению, настойчивости.

Большая река идет с шумом таким, что заглушает человеческий голос, даже крик. Море я знаю. Потому, наверное, и не тянет так, как тянет в Серебряный Бор в жаркий день.

Сердечный привет.

В. Шаламов.

И.П. Сиротинская — В.Т. Шаламову

Алушта, 06.67

С днем рождения, дорогой Варлам Тихонович!

Желаю Вам здоровья, всяческих удач, рабочего настроения, радостей маленьких и больших.

У меня все идет хорошо. Кажется, мы обосновались надолго после двух переездов. У моего милого супруга силушка по жилушкам переливается и требует исхода. И оттого уже три раза он предпринимает переезды, а это связано с титаническими усилиями, т. к. выравнивается место для палатки, натаскивается сено и т. д. Мне уж это надоело, и я сказала, что больше в переселение народов не играю. Но место у нас сейчас роскошное — в 15 метрах от моря с великолепным видом.

Я отдышалась от мирской суеты и наслаждаюсь жизнью. У меня есть возлюбленный — красивый камень с лысиной на затылке и зелеными кудрями вокруг нее, но самую красу он прячет под водой — рыжие, роскошные усы. А море, а море! Слов нет рассказать, какое оно серебристо-голубое, прозрачнейшее, и шум его я слышу и ночью из палатки.

Но дельфинов нет. Наверное, они не вернутся. Они чувствуют, что я уже не дельфин, и не зовут меня с собою. А может быть, я стану опять дельфином?

Но нет, не зря я отказалась от себя самой, торжественно похоронив свои дурацкие выдумки. Не зря же я загоняла их вглубь так упорно. Я не чувствую себя дельфином. Я чувствую всегда, что у меня две ноги, а хвоста-то ведь нет. Об этом я не забываю теперь. И песня придумалась совсем другая — про камень, на котором остался след высокого прилива, большой волны.

Может быть, самое драгоценное были эти иллюзии, но ведь не должны же они быть важны, если они иллюзии? Но море убедительно так шелестит мне, что все не важно. Что важно — солнце, небо, перистое облачко, тень куста, галька, камни и эта огромная соленая лужа. Оно, конечно, право, но мне так жаль дельфинов. У них темные спины. И как начнут они мелькать в волнах, мне весело.

Вот уж, поистине, эгоизм — в поздравительном письме так долго пережевывать все эти старые-престарые веши.

Если захотите, можете написать мне — Крым, Алушта, турбаза «Карабах», мне (без до востребования).

Будьте здоровы и счастливы. Вместо букета — посылаю Вам лепестки мака с большой серой скалы.

С уважением Ирина.

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

18 июня 1967 г.

Дорогая Ира.

Спасибо тебе за большое чудесное письмо ко дню рождения с лепестком мака. Единственное письмо сегодня. Рассказ о себе — это и не эгоизм совсем. Напротив — если тебе кажется, что мне важно знать о любом твоем дне, о любой твоей ночи — о всем, что окружает тебя повседневно — воздух — вода — земля и люди — ты и рассказываешь о себе. Тут нет ничего эгоистического. Рассказ твой о дельфинах, которые могут не явиться и о камне со следом высокой прошлогодней волны — очень хорош, очень лиричен. Я заметил, что хорошая лирика требует аллегоричности обязательной. А, может быть, это закон и для прозы. Так что чем больше в твоих письмах будет «эгоистического» — своего — тем письма эти будут для меня дороже. Иногда разгадываю, почему ты пишешь фразу, как ты ее пишешь? Что ты в это время делала, что думала, хотела и так далее.

О море крымском ты пишешь очень хорошо. Я в Крыму не бывал, но мне кажется это море не похоже на Сухумское — недружелюбное и не очень прозрачное, не очень чистое. А может быть, все в море от неба, от земли. Я рад за тебя, что ты на камне, у моря. Нет, туда, где было хорошо, надо возвращаться. Трудно только найти на свете такие места. Кроме страны детства, да и та, наверное, обманывает нас. Был такой писатель — Юрий Олеша — плохой писатель, но способный переводчик с французского. Глубоко по всей природе таланта лишенный оригинальности и понимания, что для писателя своеобразие — все. Олеша очень любил семью, но в родной город не возвращался, хотя родители были живы (и даже пережили его). В дневниках он объяснил, что именно на родину он может приехать только с всемирной (не меньше) славой. Столичный успех (а он у Олеши был) не решал вопроса. А еще потому что боялся умереть. Примета есть: люди перед смертью хотят побывать в родных местах.

А в Крыму, при встрече с Крымом, наверное, много зависит от погоды и так далее.

Второе письмо твое гораздо веселее первого. Я ответил письмом на почтамт Алушты. Крепко тебя целую и всю тебя помню.

Пиши.

В. Шаламов.

И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 18/VI-67 г.

Я сегодня немножко нездорова и лежу в палатке.

Передо мною море синее-синее и немножко серое от облаков. И по морю летит «Ракета», и на носу у нее — два белых кудрявых уса. И сегодня я встала рано и сделала открытие. (Как полезно вставать раньше всех!) Солнце только высунулось из-за судакских гор, и на море легла красная, золотая полоска. И легла прямо к моим ногам. Я очень обрадовалась, что так удачно села — прямо у конца дорожки. А потом встала, пошла, а дорожка побежала за мной, как привязанная. Я так обрадовалась: ведь выходило, что дорожка специально для меня, а не сама по себе. И я почувствовала свое значение на пустом берегу. Ведь если б не было меня, то и дорожку никто бы не сделал своими глазами. И я была так благодарна солнцу. Это было как подарок мне — роскошная золотая дорожка от моих ног к солнцу. Это для меня очень важно. Я никому не сказала об этом — что это важно. А Вам говорю — это будет моим подарком в Ваш день рождения. Вам обязательно надо приехать к морю и на восходе увидеть свою золотую дорожку.

Как Вы живете? Как пишете? Как книжка — вышла ли? Я уже загорела, одичала до того, что иногда целыми днями не причесываюсь, обленилась, забыла о домах, платьях (я даже не взяла с собой ни одного), каблуках. Словно сплю все время и вижу сны. Вот кричат чайки. Почему у них такой унылый крик? И жалобный. Словно не рыбу ищут в волнах, а кружат над утопающим. И облака похожи, то на спящего ребенка, то на испуганную женщину с разметавшимися волосами, то на льва. Вчера был ясный-ясный день — виден был совсем отчетливо весь берег Крыма до Керчи. И горы были контурные такие. А сегодня весь берег в белесоватой дымке. Через две недели мы уедем отсюда на Кавказ по морю, даже ведь через 10 дней уже! — 28 июня. Поедем в Анапу — Артему на июль дали путевку в лагерь. Оставим там Артема, а я поживу еще дней 10 с ребятами где-нибудь там. Наверное, в цивилизованном месте. Скучно, но что же делать.

Будьте здоровы и счастливы!

Ирина.

Я так сильно-сильно люблю море, что могу долго — целую вечность стоять на его берегу.

19/VI. Сегодня облачный день. И море — словно расплавленное олово. Ровное и тяжелое. Вчера вечером ходили гулять с Артемом (он любит гулять вдвоем). Навестили могилу академика Кеппена. Она в кипарисовой роще на берегу моря. Я даже не знаю, кто он. Там так тихо, сухо, пахнет морем и спокойно. Вчера была луна почти уже полная, желтая. Венера горела так голубо и ярко, что береговые огни казались желтыми и ручными. И Марс был виден. Мне долго не хотелось спать. И море не казалось страшным. И когда я первый раз сидела у моря ночью, мне казалось, что кто-то страшный, дикий притаился в темноте и сейчас меня слизнет.

Хорошо у моря — полное отсутствие желаний. Конечно, так и живут деревья — просто живут и радуются солнцу, и ничего не хотят. А когда дует ветер, они стараются покрепче держаться за землю и все.

У них и позы такие — вцепились в землю своими корнями.

Только сны мне всегда снятся печальные, и часто я просыпаюсь — а на глазах слезы. Но днем все ночные страхи мне кажутся нелепыми. И я чувствую себя счастливой просто так — не от чего. Наверное, это нелепо — подходить к жизни с каким-то заранее придуманным требованием.

Может быть, надо принимать все так, как оно есть. И просто самой пытаться приспособиться. Но слишком сильна во мне — как назвать, даже не знаю, — необходимость, жажда? Что-то вот внутри, около сердца у бронхов живет такое, что тянет меня и мучит, и не дает жить потихоньку, уделив место — вот для долга, вот для любви, вот для удовольствия. Какая-то необходимость в одном большом, которое все поглотило бы остальное. Я знаю, как концентрируются все мои силы, когда вдруг появляется цель, которой они могли бы служить. Помните этот романсик?

> Мою любовь, широкую, как море,
> Вместить не могут жизни берега…

Как хорошо, что есть море, что оно такое огромное, нет предела для глаза. В конце концов, это неважно — счастье или несчастье свое, как у Ходасевича,[5] да?

Только горе в том, что живет в тебе такое, что не хочет смириться, уменьшиться. Вот вспрыгну на камень, подниму руки, тянусь на цыпочках… Кажется, еще чуть-чуть, чуть — и я не

стану, я растворюсь, улечу — так распрямляется во мне что-то, вечно сжатое в комочек, униженное и задавленное. И я чувствую, легкими чувствую свободу, радость, которые похожи на умение летать. Отчего? От глупости, должно быть.

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

25 июня 1967

Дорогая Ира.

Спасибо тебе за твое письмо, написанное в день моего рождения, спасибо за чудесный подарок — морскую золотую дорожку, что бежала за тобой и которую ты даришь мне. Нет, я вряд ли соберусь к морю, хотя захотел остро своей золотой дорожки на восходе. Книжка моя вышла, она и к дню рождения успела, хотя это чистая случайность — издательство ведь не знает моего дня рождения. Это книжка получше прежних, но лучше за счет старых стихов десяти-двадцатилетней давности, к тому же потерпевших всяческие сокращения, урезки. «Аввакум» и «Стихи в честь сосны» — сокращений предельных, а из «Атомной поэмы» напечатана одна тридцатая часть, только вступление («Хрустели кости у кустов…»). «Песня», наименее пострадавшая и то в 5, а не в 6 главах (нет «Я много лет дробил каменья, не гневным ямбом, а кайлом!») И три строфы сняты в конце этой маленькой поэмы. Так что большой радости книжка эта мне не доставила.

Это лучшие стихи сейчас в России, более того — единственные стихи, истинное искусство. Конечно, автору не следует быть самонадеянным, но это только для тебя, Ира.

Писать об этой книжке не будут — я ведь не вхожу ни в какие группы. В прошлом году я выступал на вечере Мандельштама. Выступал не потому, что я футболист, перешедший из команды «Динамо» в команду «Спартак», а потому что Мандельштам — великий русский поэт, потому что он умер на Колыме, а вовсе не потому, что я мандельштамист или пастернакист. Шестидесятилетие свое я, всю жизнь занимавшийся стихами и прозой, встречаю вот с каким итогом. Для того, чтобы иметь литературный успех, известность, популярность, вовсе не нужно быть большим писателем. Нужно иметь банальную идею, выраженную самым примитивным банальным литературным способом, только это обеспечивает успех. Всякая же напряженная работа (над стихом, прозой — все равно), ведущая к созданию **новых** литературных форм, всякая сколько-нибудь сложная мысль, лежащая в теме, в идее, — никого не интересует. И не нужна читателю. Потому и Пастернак шел к упрощению, а правильнее опрощению своего стиха. Потому неизвестно, за какие писательские заслуги мы считаем классиком Гаршина —

незначительного писателя, весьма прогрессивного, толстовского плана. Ну, письмо на этом кончаю — прошу простить за свой эгоизм. Вот мы и повидались.

В. Шаламов

И.П. Сиротинская — В. Т. Шаламову

Алушта, 26.06.67

После 5 часов солнце заходит за гору, море становится синим. И над ним — чуть розоватые облака — округлые сверху и ровные снизу. Я такая счастливая, днем и ночью слышу шум моря и всегда вижу его. Дня четыре шли дожди. Мы с Артемом пошли в магазин, а на обратном пути нас застала гроза. Мы все сняли с себя и босиком, в купальниках бежали по дороге. А море было все рябенькое от дождя. А потом мы спрятались под кипарисом, у него ствол был теплый, и мы мыли под дождем клубнику и ели. А потом выглянуло солнце, и мы пошли домой.

Как красиво выглядит босая нога! Пальцы так держатся за землю, и идти весело. Навстречу нам (по грязи-то!) шли женщины в модных босоножках. Ведь некоторые приезжают сюда в нарядных туалетах. И мы чувствовали свое превосходство над этим скользящим и ахающим племенем.

Дети мои совсем одичали — уходят, куда хотят, то в горы, то по берегу — очень далеко. Загорели, осмелели. Я их не очень ругаю за отлучки — я понимаю прелесть свободы и самостоятельности. Вечно все в ранах от ушибов, в царапинах. У Алешки кожа облезла даже за ушами. Но каких они ловят крабов! Взрослые дяди сбегаются на них смотреть. Самый отчаянный краболов — Сашута, ему один краб до крови палец прокусил, но Саша сказал: «Не больно». Один раз Сашутик чуть не утонул: «Мне было с головкой, но я прыгал и допрыгал к берегу».

А какое море, какое море! И сквозь воду видны мохнатые огромные камни. Всю жизнь сидела бы у него. На самом горизонте белая точка — корабль. А на большом камне метрах в 200 от берега живут чайки. Сейчас он еще освещен солнцем, и чайки лежат на нем белыми пятнами. У них есть чаята. Леня и Артем хотели доплыть до него, но чайки так всполошились, что они вернулись, не стали их пугать.

Какая я глупая-глупая, что так много дней занималась всякими выдумками, теперь я живу с ощущением счастья. Проснусь — слышу, море шумит. Чайка пролетит совсем рядом. Какое у нее совершенное тело, какие прекрасные крылья! И я счастлива. И горы за Судаком видны отчетливо. Они сухие, безлесные. Пролетела ворона — какое убожество по сравнению с чайкой!

Ну, у меня совсем графомания — пишу все подряд. Получила

ваше письмо — спасибо. Пишите мне пока на Анапу, до востребования, главпочтамт.

Всего Вам доброго. *Ира.*

А как красиво восходит солнце! Когда оно выглядывает из-за гор, горы совсем черные, а море у них — нежно-голубое, как небо. Что-то совсем невероятное.

А остальное море — сверкающее, серебро с голубым.

Сегодня так жарко, а море совсем спокойное. Я далеко заплыла на матрасе, вода внизу была голубой, подо мной были камни, заросшие водорослями, рыбы. Я так долго качалась на волнишках, что даже голова заболела.

Мне очень стыдно, что я была такой эгоисткой, все думала о себе — это рецидив болезни «преувеличение собственной ценности». Мне просто стыдно, что я такая противная. Но я постараюсь быть хорошей.

Как Ваши успехи? Вы ничего не написали о своей работе, о книжке. Как Ваше здоровье?

Я так счастлива! Просто бес-ко-неч-но! Кажется, упаду в море и стану голубой водой. И во мне будут плавать белые медузы и окуньки с голубой стрелкой, и зеленушки.

Ира.

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

3 июля 1967

Ире, победительнице хаоса, викингу и дельфину — все сразу. Так и вижу тебя под дождем, как ты бежишь с берега вместе со своими малышами, а я гляжу на тебя из-за кромки дождя. Кеппен — пришлось открыть энциклопедию, прежде чем вспомнить, да не вспомнить, узнать. Оказывается, было два великих Кеппена. Старший этнограф (он-то и похоронен в Алуште в 1864) и сын-метеоролог, умерший где-то в Германии (впрочем, насчет Германии я не уверен). Крупные люди науки стараются умереть не в Москве, не в Петербурге, не в столице. Столица только подтверждала победу, а доживали — в провинции. Впрочем, у Кеппена, возможно, был туберкулез, вот почему он умер в Крыму.

Только что я написал и отослал письмо в Анапу, на почтамт, как получил открытку, что Анапа отменяется. Ну, все равно письмо было хорошее о стране Бимини, оказавшейся в Алуште, в Крыму.

Буду ждать твоего возвращения.

В.

В 1967 г. он завершил свой сборник «Воскрешение лиственницы» и в своей толстой тетради написал посвящение мне, опубликованное теперь, я, правда, исключила из посвящения слова: «она является ее (книги) автором, вместе со мной». Это, конечно, безбожное преувеличение.

Письма 1968 года свободнее — у В.Т. появилась своя комната, и можно было писать, не опасаясь, что письмо попадет в другие руки. Июнь 1968 г. был высшим пиком нашей близости, мы встречались ежедневно, В.Т. готовил ужин, по воскресеньям и субботам ходили купаться в Серебряный Бор. Как-то очень привыкли друг к другу. И вдруг! Все оборвалось, я уехала в Крым, меня с восторгом встретили муж и дети, настоящая реальность, настоящая семья. А с В.Т. — не выдумка ли моя?

В 1969 году В.Т. на выставке Матисса испытал приступ стенокардии («Как на выставке Матисса/ Я когда-нибудь умру»). И тут, как видно, он задумался о судьбе своего наследия, прежде всего литературного. Из свойственного ему суеверия он никогда не обсуждал этот вопрос со мной. О смерти мы не говорили.

Лишь перед отъездом в интернат для престарелых и инвалидов он передал мне остальной архив и конвертик с надписью: «Экстренно, после моей смерти». В конвертике я обнаружила черновики завещания, и письмо мне, а в 1-й нотариальной конторе — само завещание. Потом, по истечении срока, я оформила свидетельство о наследовании авторского права по завещанию.

Странно, но в эти же дни я видела сон: кладбище, глинистые какие-то дорожки, на склонах холма кособочатся мраморные бюсты, лают и прыгают собаки, а я что-то ищу, ищу и не могу найти. А сторож где-то в темноте кричит: «Закрываю!» И я не могу найти то, что ищу.

А ведь все еще были живы — В.Т, мама, папа. Еще годы я не знала утрат, и мир был еще тот, где все живы, все есть. Это был мир живых, любимых, мир счастья, моря, зеленой травы, чистой, холодной речки.

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

лето 1968

И хочется всю книгу жизни перелистать…

Последняя моя книга «Воскрешение лиственницы» посвящается Ирине Павловне С.

Она — автор этой книги вместе со мной. Без нее не было бы этой книги.

В.Т. Шаламов — И.П. Сиротинской

8 июля 1968 г.

Дорогая Ира, получил телеграмму вечером се

1966 — 1978

«Горящая судьба»

Нет дня, чтобы я не вспоминала В. Т., не размышляла о его судьбе. В судьбе В. Т. есть какая-то предопределенность. Вспомнишь известное: «Посеешь характер — пожнешь судьбу». В его судьбе противостояли два начала — его характер, убеждения и давление времени, государства, стремившегося уничтожить этого человека. Его талант, его страстная жажда справедливости, бесстрашие, готовность делом доказать слово… Все это было не только не востребовано временем, но и опасно ему.

В. Т. ясно чувствовал этот ветер времени, всегда дувший ему навстречу. Но порой порыв слабел, словно забывая его, и В. Т. не упускал возможности что-то сделать для своего спасения, для своей работы.

Был он суеверен, как, наверное, все люди, живущие опасной жизнью — моряки, летчики… Он говорил: «Когда попадаешь в полосу неудач, сиди и не предпринимай ничего, когда же подует попутный ветер — действуй, соглашайся на все предложения». Это — не новое наблюдение. Вспомним Шекспира: «В делах людей приливы и отливы. С приливом достигаем мы успеха…»

Даже дизентерия может быть удачей — шанс попасть в больницу, спастись на месяц — два от золотого забоя, от пятидесятиградусного мороза и побоев блатных.

Вот-вот, кажется, злая судьба настигнет его — 22 июня 1943 г. его судят на Колыме. Показания свидетелей страшны — он, якобы, осмеливался осуждать Верховного главнокомандующего (даже свидетели не решаются назвать его по имени — Сталин), восхвалял Троцкого и т. п. Верный расстрел. Но ему дают статью 58. 10 (антисоветская агитация). Эта статья заслоняет страшный литер КРТД предыдущего срока, и Андрей Пантюхов, врач, заключенный, с которым он подружился, направляет его в 1946 г. на курсы фельдшеров, что и спасает его жизнь на Колыме.

А после Колымы? Болезнь Меньера, глухота, — кажется, жить бы тихо на пенсии, как и настаивала семья. Но он пишет «Колымские рассказы», «Четвертую Вологду», «Вишеру», стихи. «Стихи — это боль и защита от боли…». Стихи — преодоление немоты, исцеляющая душу, сердце и тело сила.

Если сил не растрачу,
Если что-нибудь значу,

Это сила и воля — твоя.

(«Поэзии»)

Писатель, которого не печатают, который пишет в стол кровоточащую новую прозу, понимает силу и новизну своего таланта — и лишен читателя. Помогают жить две силы — стихи (все-таки иногда проникающие в печать), и не то что равнодушие, а просто знание истинной цены мнению людей; конечно, поддержка и понимание немногих, которых он уважает или любит, тех, которые верят в него.

Я — верила.

Он умер, глухой, слепой, одинокий в доме инвалидов и престарелых. Кажется, судьба погубила его, наконец, с помощью ПЧ («прогрессивного человечества»). «Затолкали в яму», как он говорил.

Но начинается жизнь после смерти. Через пять лет после его смерти, в 1987 году, начинается его воскрешение — журналы наперебой печатают прозу, с 1989 года выходят книги. Посмертное «соперничество» с Солженицыным — кто, в конце концов, «главнее». Поверхностные суждения критиков, на двух-трех цитатах строящих свои концепции. Для начала — это естественно. Проза его непривычна. Но появляются исследователи. Книга Е. В. Волковой «Трагический парадокс Варлама Шаламова» (1998), Ф. Апанови-ча «Новая проза» (Польша, 1997), глубокие, яркие статьи Е. Михайлик (Австралия) и др. Как ни странно, на Западе он находит больше понимания и признания. Недавно один исследователь и переводчик из Франции убеждал меня по телефону, что В. Т. **писатель** («Он именно **писатель**, художник!»). Я говорю — да я это знаю давно. Но он продолжал твердить, что в отличие от мемуаристов и публицистов, он именно писатель.

Слава его не была громкой, обвальной, но в какой-то степени элитарной. Многие воспринимали КР как мемуары.

Не всем внятный глубокий подтекст, метафоричность, символы — ненавязчивые, кажется, незаметные. Вот и В. Войнович и Л. Чуковская называют его прозу просто очерками. Конечно, в этой мозаике есть и очерки — «для вящей славы документа». Но, думаю, эти уважаемые люди не прочли целиком «Колымских рассказов». Это — труд, душевный труд для читателя. Не просто прочесть, но пережить, перечувствовать! Не глазами, а сердцем. И тогда поднимется перед тобой великая фигура Автора. Бескомпромиссная, правдивая фигура Поэта,

которому внятен голос души человеческой, голос камня, ветра и воды, дерева и братьев наших меньших…

Впрочем, он сам говорил, что пока он не чувствует, что его пером водит природа, нечто высшее и непознанное, он не берет пера в руки. Это, кстати, — не об «очерках», это об окнах (или провалах) в запредельный мир, который на наших глазах становится явью. Мир, не чтящий заповедей Христа.

«У меня не было удач»

В жизни у него не было удач — чьей-то поддержки властной, совпадения случайностей. Все ему далось неистовым трудом, все оплачено кусками крови, нервов, легких.

Но дал Бог талант, силу и высоту духа, твердость нравственную — много, зато в помощь земной жизни — ничего. Кажется мне, что столько дается святым. Переживают они страдания тела и поругания, истово веря в Царство Божие.

Варлам не имел этого утешения, не верил в Царство Божие на грешной Земле, не верил в трусливых, подлых людей, — светлых и крепких духом на земле — единицы.

Но все-таки писал, ибо не писать не мог. Многие, выжившие в колымском аду, ради жизни и покоя стараются забыть, смягчить жестокую правду о людях, о непрочности материала, из которого они сделаны. При помощи палки и даже без палки из 99 % людей делают трусов, доносчиков, подлецов. Солженицын — Ветров, бригадир — все, чтобы выжить.

Я знаю сам, что это не игра,
Что это смерть, но я и жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развернутой тетради.

Нет, бригадиром я не стану, «лучше, думаю, умру». (В. Т.)

Из Варлама — не сделали ни бригадира, ни доносчика. Он презирал компромиссы и помощь «прогрессивного человечества» в России и на Западе, ибо ведь и за такую помощь надо платить — облегчить жестокую лагерную правду, не говорить правду вообще о людской природе, а только ту ее частицу, что пригодна для политических манипуляций, а ведь Хиросима, Освенцим, Колыма — явления одного порядка.

Все такие попытки он называл «спекуляцией на чужой крови» и считал подлостью использовать чужую кровь в личных целях, политических целях. Конечно, этот глубокий пессимизм неудобен был ни либералам, ни коммунистам: все они оказывались в одной куче нечистых, все ловчили на чужих судьбах, жизнях, на чужой крови.

Помню, я как-то присутствовала на конференции

«Мемориала», очень уважаемого мною общества. Выступали посланцы от разных его отделений и с каким-то странным хвастовством докладывали о произведенных ими раскопках, о количестве «костей».

Хорошее, конечно, дело — упокоить кости мучеников. Но какой-то странный акцент звучал в их речах, неподобающий. Люди явно конкурировали в этом горьком деле, и все время кланялись в сторону иностранцев, намекая на недостаточность средств.

«Нет мемуаров, есть мемуаристы…»

В.Шаламов

В воспоминаниях о В. Т. есть много неточностей, а часто — лжи (Л. В. Зайвая, С. Григорьянц, Б. Лесняк и др.). Конечно, я тоже не идеальный мемуарист. Одно достоинство — я не вру, но я умалчиваю о многом. О чем? О том, что глубоко личное и мое, и В. Т.

Одно из последних его стихотворений:

Пусть она не забудет меня,
Пусть хранит нашу общую тайну…

А в стихотворении «Она ко мне приходит в гости…»:

Как тайнопись, которой маги
Заворожили свой секрет…

В. Т. глубоко, исповедально был искренен со мной. И я — тоже. Мы понимали друг друга и разумом, и интуитивно. Хотя теперь я понимаю его лучше — догоняю его годами. Больше ценю независимость, тишину, редких-редких близко душевно людей.

Я думаю, что, будь он на моем месте, он тоже сохранил бы нашу общую тайну. И пересказать ее трудно, даже невозможно, слова огрубляют и мысль, и чувство. Можно написать стихотворение, рассказ, музыку — и то не уловить чего-то.

Жаль, что встретились мы поздно, и я не могла посвятить ему жизнь. Об этом жалел и он. Но кто знает? Что к лучшему? Не погрязли бы мы в быте? Не раздражились бы в повседневном общении?

И роль «подарка судьбы» очень трудна. Десять лет я была «подарком», и устала.

Одно могу сказать: человека, душевно более мне близкого, не было у меня. Да и он говорил то же.

Я высоко ставила В. Т. и как писателя, и как человека. Он же стремился поднять меня над собой, уверяя всерьез, что он меня не стоит. Это и в стихах есть: «Среда, которой я не стою, да и не

стоил никогда».

Когда не стало в моей жизни В. Т., в душе появилась пустота, которую никто не мог заполнить. Хотя, пожалуй, нет. Душа так устроена, что в ней не бывает пустоты — есть небо, море, цветы, дети, стихи, есть память, есть блаженство, отчего-то посещающее ее… Душа всегда полна.

Айги Геннадий

Воспоминания Г. Айги о Шаламове, которыми он поделился на I Шаламовских чтениях (1990), заключают маленькую «приписку», и она касается меня. Мне неудобно было при публике опровергнуть слова Айги, но записать на будущее надо. Гена ссылается на меня, что я звонила ему от имени В. Т.: «Варлам Тихонович напоминает, что Вы обещали ему дать для прочтения мои стихи…» и т. д.

Я, действительно, звонила не один раз, но с другой целью — чтобы вернуть машинописный экземпляр «Колымских рассказов», который дала почитать Гене.

В конце концов, он вернул его — со следами от донышек стаканов на страницах.

Стихами же Гены В. Т. не интересовался. Хотя по моей просьбе (от имени Гены) прочитал, пролистал его сборник. И написал на своем сборничке — «Геннадию Лисину, поэту» (Айги был тогда Лисиным). Но никогда потом не вспоминал Айги и не читал его стихов — в записных книжках нет ни одного упоминания о Гене Айги.

Поэтические собеседники В. Т. были другими.

Александр Солженицын о Варламе Шаламове

В № 4 «Нового мира» за 1999 год опубликованы краткие воспоминания А. И. Солженицына о Варламе Шаламове, а также его реплики по поводу моей публикации «Из дневников» В. Шаламова («Знамя», 1995, № 6) и републикации их в «Шаламовском сборнике» (вып. 2, Вологда, 1997) с моим послесловием.

Кое-какие места воспоминаний Солженицына хотелось бы прокомментировать истины ради. Итак, следую тексту Солженицына.

Солженицына «художественно не удовлетворили» рассказы Шаламова. Это неудивительно, он писатель традиционный и «новой прозы» Шаламова, движимой совсем иными художественными средствами, понять не мог. Что ж, и в толпе голых людей, гонимых к печам Освенцима, Солженицын стал бы искать и описывать «характеры»? А Колыма была не лучше Освенцима: «Цвета глаз, — писал В. Шаламов, — ни у кого не было». 1938 год, пятидесятиградусный мороз, голод, побои, расстрелы, работа по 14 часов, закостеневшие по ручке кайла руки, цинга, кровь и гной, текущие из незаживающих ран… Шаламов нашел адекватный литературный стиль для изображения этого ада. Кто не знал этого кожей, нервами, остатками мускул, тот не может писать об этом. Господину Ветрову помолчать бы, не судить.

Не помню, кстати, чтобы я когда-либо утверждала, что все герои «Надгробного слова» — сам автор. Он мучится их мукой, умирает их смертью, но в этом рассказе герои имеют даже столь желанные Солженицыну «характеры», вернее, эпитафии. Судя по всему, Солженицын этого рассказа не читал.

Мнение Шаламова о сравнительной ценности поэзии и прозы, так однозначно высказанное Солженицыным, нельзя понимать так узко. Ведь и проза Шаламова — это «новая проза», это проза Поэта (ритм, символы, радар-душа автора),[6] одно из значительнейших литературных явлений второй половины XX века.

Относительно отказа Шаламова от сотрудничества с Солженицыным — это так понятно при разности их характеров, творческих принципов, жизненного опыта.

> «Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын».[7]

А. И. Солженицын, безусловно, великий стратег и тактик, а Шаламов — всего лишь великий писатель.

Опять распинает Солженицын историю письма в «Литгазету» 1972 года, при этом забывая собственные многочисленные тактические «облегчения» своих произведений, свое письмо в ЛГ в 1968 году с протестом против зарубежных публикаций. В разных войнах они участвовали: Солженицын — с советской бюрократией, Шаламов — с мировым злом. И с Хиросимой, и с Освенцимом, и с растлением людей, переползающим лагерные колючки («лагерь — мироподобен»).

Он говорил: «Пешкой в игре двух разведок я быть не хочу». И яростно возмущался, что его рассказы используются на Западе малыми дозами как оружие политической борьбы.

Он сражался на другой войне. Даже милая молодая исследовательница из Австралии Е. Михайлик поняла это: «Рассказ «Ягоды» написал человек, сражавшийся при Армагеддоне и знающий, что мертвые не восстали».[8]

ЦРУ Шаламова столь же мало привлекало, как и КГБ. Из «Записок аутсайдера» Владимира Аллоя[9] мы узнали, что А. И. Солженицын даже устраивал дотации «УМСА-press» от некоего секретного ведомства США. Подобные контакты не считал допустимым для себя Шаламов. Он не хотел обслуживать ничьи политические игры. Весь был в литературе, искусстве.

О принятых Солженицыным деньгах. Шаламов имеет в виду, конечно, не гонорар. Это — деньги за «пророческую деятельность», которые идут «не из-за границы», как заверял Солженицын. Шаламов считал, что уж ежели имеешь претензию быть пророком, денег брать нельзя, они связывают твою свободу и посягают на твои слова.

И, наконец, «прямой навет» (мой) о совете Солженицына Шаламову не посылать рассказы на Запад, ибо без религии они там не пойдут.

Увы, должна подтвердить, что запись Шаламовым этой беседы относится именно к А. И. Солженицыну. Даже слова «для пользы дела» вставлены Шаламовым в речь его собеседника. Варлам Тихонович не раз рассказывал мне об этой беседе. Меня еще тогда поразил парадокс: Шаламов, неверующий, оскорблен столь практическим использованием религии. Религию он чтил

как самый совершенный нравственный пример. А Солженицын…

И как недостойно звучит лживый намек: «уже безум-новатые глаза». Пронзительным, проницательным и ясным был всегда его взгляд, пока он не ослеп, но это было в 1981 году, а Солженицын, по его словам, видел Шаламова в 1965 году последний раз. Человека, в том числе и дельца Солженицына, он видел насквозь.

Лесняк Борис Николаевич

Его мемуар под претенциозным названием «Мой Шаламов» опубликован в журнале «Октябрь», 1999, № 4 и рассчитан на известный эффект: «Кто кого переживет, тот того и перемемуарит».

Но прав он в одном — это его Шаламов, увиденный мелким, себялюбивым человеком. Я была знакома с Лесняком, но при первом же знакомстве с удивлением почувствовала, что он мне не нравится, антипатичен весь — от кругленькой маленькой фигурки до интонации разговора о В. Т. — какой-то снисходительной, словно Лесняк все еще был всемогущим фельдшером, фаворитом главврача, а Шаламов — бесправным доходягой.

Б. Н. тоже пописывал рассказы и, видимо, ему они казались ничем не хуже шаламовских. Обманчивая простота прозы В. Т. так и подсказывала графоману: «А я чем хуже?». Тем более что в Магадане охотно публиковали его афоризмы, заметки.

И мелкая ложь его: «В парниках на Беличьей выращивали овощи. Все — для больных! Я ни одного помидора не съел!».

Нина Владимировна потрепала мужа по руке: «Да ел ты, ел!».

В. Т. упоминал не раз, что Лесняк не был на общих работах. Медицинская специальность ему помогла в лагере, да и характер он имел обтекаемый, умел приспособиться. Вот и Нине Владимировне Савоевой, человеку горячему, а порой резкому, он сумел оказаться нужным.

— Да, это только благодаря Вам выходят книги,

— говорил, улыбаясь скользко, Лесняк.

Я отвечала, что Шаламов сам, своим талантом открывает себе дорогу.

Мемуар свой Б. Н. не давал мне читать в рукописи, и я из опубликованного текста узнала о его «поправках» к лагерной биографии В. Т. Нет, не к документальности стремился этот «свидетель», якобы черпая ее из лагерного дела Шаламова, на которое нет ни одной ссылки. Из его хроники выпадает и спецзона Джелгала, где Шаламов получил третий срок, и прииск Спокойный, а угольная Аркагала выглядит просто курортом, хотя именно там вращал грудью Шаламов египетский ворот на пронизывающем холодном ветру…

Впрочем, хронику жизни Шаламова, в том числе и на Колыме, я привела в книге В. Шаламова «Несколько моих жизней», М., 1996.

В памяти лагерных богов, имевших прислугу (дневального) и живших благоустроенно (см. свидетельство Евг. Гинзбург в «Крутом маршруте»), слились, видимо, в памяти первое и последнее пребывание Шаламова в Беличьей.

Это естественно. Он был лишь одним из доходяг, из многих доходяг.

А может быть, это и намеренная, хотя и напрасная, забывчивость. Хотя что меняет в облике Автора «Колымских рассказов» плюс-минус месяц в аду? Ад — это бесконечность унижения, смерти, голода, холода, которую не понять, не ощутить Лесняку.

Шаламов и не отрицал помощи, которую оказали ему Н. В. Савоева и Б. Н. Лесняк. Лишний кусок хлеба, лишний месяц в больнице — большое, спасительное дело. Но к чему разбавлять доброе дело неправдой, презрительными словами об отвращении к труду доходяги, которого этот благословенный труд убивает… Это безнравственно.

А что касается «доноса» на Сергея Лунина, то приведу слова свидетеля — хирурга Е. А. Мамучашвили:

«Разумеется, назвать докладную на имя начальника больницы «доносом» нельзя. Шаламов был покороблен поведением Лунина, в котором было очевидно нарушение дисциплины и медицинской этики»[10]

Распитие медицинского спирта, пьяные оргии, танцы медсестры на столе в голом виде… Шаламов защищал «свою» больницу, свое хирургическое отделение как его старший фельдшер. А Лесняк, кстати, в Центральной больнице для заключенных не работал.

Факты для мемуаров он черпает в текстах Шаламова, только интерпретирует их в своем вкусе…

Ревность к славе Ахматовой… Зависть к Пастернаку… А «взятка» редактору в виде «букетика в портфеле»?! Думаю, что зависть разъедала самого Лесняка.

Просто навязчивый бред какой-то.

Шаламов просто восторженно относился к стихам Пастернака, обожал Блока… Он невообразимо выше был зависти к истинному гению.

Просто обитал на ином уровне сознания, боюсь, недоступном Лесняку. Но читатель, я думаю, ознакомится сам с текстами эссе и переписки Шаламова.

А откровения Лесняка — вроде «писал рассказы легко»!!!

В. Т. в письме ко мне, которое я опубликовала как эссе «0 моей прозе», пишет:

> «Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить…»

«Легко!» Возвратиться памятью, чувством в те года — страшное напряжение.

Лесняк из тех графоманов, о которых писал В. Т. в «Записках рецензента»:

> «Почти каждому автору приходится разъяснять, что художественная литература — это искусство, что оно нуждается в выдумке, воображении, что действительность — лишь материал, из которого писатель с помощью художественных средств, с помощью подробностей, взятых из живой жизни, воздвигает свою постройку».

Есть еще и такие вещи как ритм, звуковое своеобразие текста, символы, метафоры и т. д.

Поэтому: «Последний бой майора Пугачева», а не «Последнее сражение подполковника Яновского».

Да, по-разному именуются персонажи. Но какое это имеет значение для художественной прозы? Даже самого Лесняка во «Вставной новелле» В. Т. именует Гусляком.[11]

Впрочем, говорить об этом — ломиться в открытую дверь.

Мне жаль Бориса Николаевича. Жизнь его свела с человеком необыкновенным, а он его не увидел. Просто не увидел, даже цвета глаз не заметил. А глаза у Варлама Тихоновича были ярко-голубые, взгляд его был проницательным, одухотворенным. Поистине глаза его были зеркалом души.

Но душу его Лесняк не понял и не мог понять.

Сучков Федот Федотович

Федот Федотович был личностью колоритной, одаренным скульптором и поэтом.

Его мемуар, посвященный Шаламову, написан гневным пером бывшего зека, знающего истинную цену добру и злу.[12]

Маленькая ошибка вкралась в его текст — рассказ «Убей немца!» принадлежит Г. Г. Демидову, лагерному другу В. Т. Видимо, В. Т. давал почитать этот рассказ Федоту Федотовичу.

«Близкая В. Т. женщина» — это я. Но слова мои воспроизведены Федотом Федотовичем не совсем точно. В. Т. сказал: «Я сам себя собрал из осколков». Это, с моей точки зрения, подвиг, которым я и правда восхищалась.

Об этом писала в своих воспоминаниях. И только сейчас, когда приближается, к сожалению, мой 75-летний юбилей, я понимаю яснее, какое мужество было присуще В. Т. — одинокому, больному: «Добить меня очень трудно».

Но все-таки добили с помощью славных органов и «прогрессивного человечества», для которого В. Т. был ставкой в политических и амбициозных играх. Как правильно оценивал он позицию, пытаясь устраниться от этих игр! Дураков, действительно, оказалось мало, стукачей — гораздо больше. И в «яму» они его, действительно, затолкали, как он и предвидел. В интернате он уже не мог спустить их с лестницы, как делал дома.

О воспоминаниях И. Емельяновой

Вечный «милый лжец» — так назвала себя Ирина Емельянова, охотно уступая желанию создать миф, раскрасить действительность. Может быть, так и надо писать воспоминания, может быть, миф ближе истинной сущности происходящего. Но я, архивист, исследователь, не могу побороть в себе желания поправить текст, напомнить о действительности.

Да, в 30-е годы был роман у Шаламова с Ольгой Ивинской, прелестной «девочкой с английской гравюры», как называли ее в редакции. Но — уже была жена, Галина Игнатьевна Гудзь. И он мне рассказывал, что любил ее самоотверженно, хотя и были другие увлечения, но на первом месте всегда была она — Галина, «бесценная девчонка», а в 1935 году родилась дочь. Это письма Галины он хранил на Колыме, о них писал стихи, Галине посвящено и стихотворение «Сотый раз иду на почту за твоим письмом…», написанное, по словам В. Т. (кстати, под заглавием «Верю»), «в 1952 г., в Барагоне близ Оймяконского аэропорта и п/о Томтор», там он получал письма жены.

Возвращаясь в 1953 году в Москву, он возвращался к ней. В письме Б. Л. Пастернаку (янв. 1954 г.) Шаламов пишет: «И какую нужно иметь душевную силу и веру в человека, чтобы семнадцать лет писать ему по сто писем в год, встретить его на вокзале…». Новая разлука (В. Т. уезжает на торфоразработки Калининской области), планы на дальнейшую жизнь («поживем для себя») разочаровали В. Т. страшно. Галина просила «все забыть», а он начинает писать «Колымские рассказы». Неминуемо надвигался разрыв с женщиной, которую он поистине обожал семнадцать лет. Вот тогда-то и возникло увлечение Ольгой Всеволодовной (апрель-июнь 1956 г.), ею вполне разделенное.

Но, познакомившись с Ольгой Сергеевной Неклюдовой, глубоко его полюбившей, Шаламов решительно, как и всегда, порывает с О. В., которая мстительно ему сказала: «Пастернака ты больше не увидишь». Увы, так это и было. Никогда больше не встретится В. Т. с Пастернаком, которого любил восторженно. Отношение к О. В. изменилось на резко отрицательное — так несопоставима для него была ценность общения с «живым Буддой», поэтом, гением и — с обычной, порой мелочной женщиной.

Ну, и мелкие замечания — писал В. Т. в Туркмене не в самодельных, как на Колыме, тетрадках — а в обыкновенных школьных.

Цитата из стихотворения неточна:

Я много лет дробил каменья
Не гневным ямбом, а кайлом…

«Драгоценная дружба» была более близкими отношениями, именно поэтому она прервалась, когда В. Т. сблизился с О. С. Неклюдовой.

Но, несмотря на неточности, воспоминания Ирины Емельяновой очень мило написаны. И, в конце концов, каждый помнит, или хочет помнить прошлое по-своему. Вот источник мифов.

Волков Олег Васильевич

Олег Васильевич написал предисловие к «Вишере» Шаламова (М., 1989).

Предисловие хорошее, написано с пониманием личности и работы Шаламова.

Тем более хотелось бы поправить те немногие детали, которые невольно художник в Олеге Васильевиче добавил в его небольшие воспоминания.

Однокомнатной квартиры у В. Т. никогда не было, он жил только в коммунальных квартирах. Меблировка тоже описана неверно — кровать была не железная, а деревянная и застелена аккуратно, стол был не кухонный, а письменный (на нем и стояла пишущая машинка).

Не помню, чтобы он подставлял горстью руку под съедаемый хлеб, — это явно художественная деталь. С палкой В. Т. не ходил. Нервного тика тоже не было.

Говорил он всегда очень горячо, образно, так что я, например, прямо видела все, о чем он говорил. Но, может быть, с другими, чужими он говорил иначе — «медленно, с запинками». Не думаю, что Олег Васильевич был «чужой» по натуре Шаламову. Может быть, предмет беседы В. Т. не очень интересовал. И руки у В. Т. дрожали только в момент сильных волнений, как, наверное, у многих людей, да после припадков болезни Меньера (нарушение равновесия, слуха).

В своем письме в ЛГ в 1972 г. он отрекался не от книги, книги-то как раз не было, а от конъюнктурных публикаций своих рассказов в чисто политических целях — не хотел быть игрушкой политиков и разведчиков. Ведь в те годы почти все русскоязычные зарубежные журналы и издательства финансировало ЦРУ.

Мелкая неточность: отец В. Т. был священником не в Канаде, а на о. Кадьяк.

Но главное в том, что Олег Васильевич написал положительную рецензию на сборник «Колымских рассказов», оценил высоко в те годы талант их автора. Спасибо ему, при жизни порадовавшему Шаламова.

Сергей Григорьянц

Эссе С. Григорьянца «Он представил нечеловеческий мир» (Индекс 1999, № 7–8) содержит, к сожалению, слишком много неточных фактов в мемуарной своей части, поэтому я вынуждена дать некоторые пояснения к нему.

Автор эссе, мягко говоря, преувеличивает свою близость к В. Т. Шаламову и осведомленность о многих бытовых и иных событиях его жизни. В архиве Шаламова сохранилось лишь одно письмо Григорьянца, оставляющее веское сомнение в близости их отношений. Обычно В. Т. щедро писал близким людям.

В мемуарной основе эссе — слухи, домыслы и т. п.

Но начнем пояснения по тексту эссе.

В 1930-е годы у В. Т. не выходила книга очерков, но в 1933 г. вышла брошюра в 24 стр., включавшая два очерка на профсоюзные темы. Но многие очерки и рассказы действительно были уже написаны и частично опубликованы в журналах и газетах.

Рассказ о разрыве с Н. Я. Мандельштам также недостоверен: Н. Я. не могла быть высокомерна с В. Т. — она высоко ценила его талант — «лучшая проза в России», считала, что перед ним «всегда будет стоять на задних лапах» (Знамя, 1992, № 2, с. 166). Разрыв произошел по инициативе Шаламова.

Пастернак не посылал на Колыму «Гамлета», а подарил «Фауста» при личной встрече. Содержание дарственной надписи говорит об этом: «Среди событий, наполнивших меня силою и счастьем на пороге Нового, 1954-го, года, было и Ваше освобождение и приезд в Москву…» (Юность, 1988, № 10, с. 58).

Одиночество Шаламова С. Григорьянц драматизирует напрасно. «Одиночество — это оптимальное состояние человека… Помощь единице оказывает Бог, идея, вера,[13]» — говорил (и писал) об этом Варлам Тихонович: в одиночестве беседует человек с истинной своей сущностью, с памятью, поэзией, ищет правду и справедливость. После того, что он перенес, какое значение имели для него светские тусовки! — Только сердечная близость, теплота, понимание были нужны ему.

О перепечатке стихов, рассказов В. Т.

Видимо, Григорьянц, как и все тогдашние самиздатчики, как и я, и другие знакомые, перепечатывал для себя рассказы В. Т., первый экземпляр традиционно передавая автору, который он, впрочем, кому-нибудь дарил. Но перепечатывали все с машинописных материалов! — У В. Т. была прекрасная и

преданная машинистка Е. А. Кавельмахер, разбиравшая его почерк, она-то и перепечатывала стихи и рассказы В. Т. На рукописях сохранились указания В. Т., адресованные ей. Была у него, кстати, и машинка, но ее в году 1978 украли. Вор известен, и есть письма Шаламова по этому поводу.

Идея, что вода грязнее воздуха и т. п. принадлежит одному из персонажей «Колымских рассказов», доктору Уманскому («Вейсманист»). Я сотни раз пила чай у В. Т., но зеленых стаканов не видела.

«Нищета» Шаламова была среднестатистической — пенсия 72 р. и гонорары. Я, тогда старший научный сотрудник, получала 110 р. Он себя «нищим» не считал. Даже позволял себе «роскошь»: книги и яблоки. Ничего другого и не желал. У него даже были сбережения.

Разговор Б. Полевого и В. Шаламова, по словам Н Злотникова, происходил наедине, и откуда сведения у Григорьянца о его содержании, неясно. Слухи, слухи…

Смешная выдумка, что В. Т. боялся ареста и выходил на улицу с тюремной сумкой и в вафельном полотенце. Нет, надо знать меру вымыслу! Я к нему часто приходила в это время и могу сказать: во-первых, он ничего не боялся (и написал об этом[14]), во-вторых, с сумкой он ходил в магазин за продуктами, в-третьих, на шее носил шарф.

Что касается моего «полуофициального права распоряжаться рукописями В. Т.», то я хотела бы пояснить, что являюсь наследницей авторского права В. Т. Шаламова по его завещанию, нотариально заверенному в 1969 г. Мы с ним никогда не говорили на эту тему, и конвертик с надписью: «Экстренно в случае моей смерти» — он передал мне вместе с архивом в 1979 г. перед отправкой в дом престарелых. К завещанию приложил маленькое письмецо. Относительно «спецхрана». В четвертом выпуске «Путеводителя Центрального государственного архива литературы и искусства» — «Фонды, поступившие в 1967–1971 гг.» — на стр. 472 легко найти информацию о поступлении в архив фонда В. Т. Шаламова. (Он начал передавать свой архив в 1966 г.) Естественно, что о фондах «спецхрана» в открытом справочнике не сообщают. И у меня всегда под рукой были готовые к публикации тексты «Колымских рассказов». Варлам Тихонович говорил, что Маркс прав — есть идея, обретающая материальную силу. Это — сплетня.

И первые мои публикации Шаламова вышли в свет в 1981 г. (еще при его жизни) — стихи в журнале «Юность», а проза в 1987 г. — как только журналы стали брать его колымские стихи и прозу. Ни дня я не медлила. Книги, конечно, вышли позднее:

стихи — в 1988, проза — в 1989.

И раньше никто не мог бы это сделать, что бы ни полагал Григорьянц. Ведь и Солженицын во всей своей фомкой славе и финансовой мощи не опередил Шаламова на журнальных страницах.

Там, где эссе не тщится вместить мемуары, оно содержит и кое-какие интересные мысли (последние два абзаца).

Об остальных мемуаристах я не говорю. Все равно остановить поток выдумок, а то и просто вранья невозможно.

О критиках

Конечно, писатель — публичное лицо, и в качестве такового подвергается критике. Это понятно. Непонятно, когда критик берет перо или садится за компьютер, элементарно не прочтя работ объекта. Пишут о Шаламове, в основном, эксплуатируя пару цитат, спор идет почти всегда об одном — вот Солженицын и Довлатов считают тюрьму «хождением в народ», а Шаламов считает лагерь — отрицательным опытом и т. п.

Так ведь речь идет о разных вещах — лагерь, страшный колымский лагерь ни Солженицын, ни Довлатов не видели. А тюрьму, Бутырскую тюрьму 1929, 1937 годов (до пыток) Шаламов и сам всегда вспоминал как лучшее место на свете — тепло, на работу не гоняют, читают лекции друг другу, говорят свободно, люди интересные… конечно, до «хождения в народ» (например, А. Генис «Довлатов и окрестности») Шаламов не додумался. Уж больно экзотическая, книжная идея.

Дорогие критики, исследователи, мемуаристы, прежде чем писать — прочтите, прочтите Шаламова! Там многое есть, если присмотреться, что и не снилось нашим мудрецам.

То отвесят комплимент, мол, Солженицын и Шаламов — самые знаменитые зеки.

Да не зека Шаламов давно — выпустите его из зоны в мир, он пишет о более глубоком и широком, чем зона — о Боге и человеке, в котором при насилии над его телом остается так мало от вложенного Творцом.

Знаю, что слова мои тщетны. Но прочтите, прочтите Шаламова, не пишите о нем, играя двумя-тремя цитатами, да еще собственными придумками, не старайтесь плюнуть в него ради острого словца (как М. Золотоносов).

Будьте честны с ним — он этого заслуживает.

> «Выдвигая какую-нибудь гипотезу, не спешите подкрепить ее надерганными фактами, доказывающими Вашу мысль, и не опирайтесь потом на Вашу фантазию как на истину…»[15]

И об энциклопедиях. С горечью читаю я в статье Е. Шкловского о Шаламове в биографическом словаре «Русские писатели 20 века» — Дата рождения В. Т. 5 (18) июня 2000 г. — давно, в 1994 году уточнена.

Название эссе «<0 моей прозе>» — не авторское, это из

письма ко мне, и я его даю в скобках.

Цитата из стихотворения Шаламова приведена неточно: «Не старость, нет, все та же юность…». У Шкловского — «вечность» — даже рифму не помнит автор статьи!

А библиография! Статья Е. В. Волковой называется «Лиловый мед», а не липовый. Упомянут только один выпуск «Шаламовского сборника», хотя в 1997 году вышел второй сборник, а также «Материалы IV Шаламовских чтений», а книга Е. В. Волковой «Трагический парадокс Варлама Шаламова вышла в 1998 г.

Ведь публикации 1998 года учтены во многих статьях Биографического словаря.

Но В. Т. не везет. В Биобиблиографическом словаре «Русские писатели. XX век» опять-таки неправильная дата рождения В. Т. (автор — А. О. Большев). Не указан последний прижизненный сборник писателя — «Точка кипения» (1977).

Над прозой Шаламов работает до 1982 г., если верить автору статьи, хотя умер В. Т. в январе 1982 г., не раз я писала — последние рассказы написаны в 1973 году. Статья, в целом, удачная, но неплохо бы расширить библиографию. Даже публикации «Вишеры» не указаны (1989).

Все-таки справочники должны быть безупречны — ведь они долговечны.

Двадцать лет спустя

Теперь, когда прошло много лет после смерти Варлама, я могу прикоснуться к некоторым обстоятельствам, которые тогда мне было и больно, и отвратительно вспоминать.

В очередной раз поражаюсь его проницательности. Как он говорил о ПЧ: «они затолкают меня в яму и будут писать письма в ООН…» Так и было. Он был беспомощен и не мог выгнать из комнаты ни Сашу Морозова, ни Анис, ни Хинкис… И тут ПЧ показало, на что способно: звонки Евтушенко, записи голоса, которые Морозов почти не разбирал, фотографии В. Т., «поставленные пострашнее», зарубежные публикации, осада директора сразу двумя женами с требованием зарегистрировать брак, планы вывезти больного, слепого, глухого старика за границу…

Мне говорил журналист Тумановский, посещавший тогда наш архив, о борьбе «жен», о склоках, кипевших вокруг В. Т.

А ему нужен был покой, только покой и записи стихов. А шум и склоки убивали его, как и врачебные комиссии, приводимые Хинкис. Что они могли понять — глухой, слепой, беспомощный старик. Разглядеть, что там, внутри, живет поэт, было не по силам эскулапам. Только в интернат для психохроников и могли его отправить — убить. Там он прожил 3 дня. Не устраивали бы шума и склок, прожил бы лишние месяцы.

Лишние месяцы в этом «рае», где было небо над лоджией, березы, еда, мысли, как сверчки, стрекотали в мозгу… Где он хотел жить

До последней минуты,
До конца, до конца…

Его лишили одиночества, покоя, размышлений…

Теперь, когда ему скоро исполнилось бы 100 лет, а нашей дружбе — 41 год. Когда я вспомнила его слова, поступки, прочитала каждую строчку, написанную его рукой, я могу сказать — он был лучшим из людей XX века. Он был святым — неподкупным, твердым, честным — до мелочи — благородным, гениальным прозаиком, великим поэтом.

Я отдала тебе жизнь, друг мой Варлам, мой великий и

добрый друг.

notes

Примечания

1

Л.В. Зайвая — женщина, убиравшая у В.Т. после моего ухода в 1977–1979 гг.

2

Зеленина Наталья Юрьевна (1929–2002) — подруга И.П. Сиротинской.

3

Подлинники «Колымских рассказов» записаны в школьных тетрадях.

4

Бимини — сказочная страна вечной молодости, любви и счастья (См. Г. Гейне «Бимини».).

5

«Играю в карты, пью вино, С людьми живу и лба не хмурю. Ведь знаю, сердце все равно Летит в излюбленную бурю…» (В. Ходасевич)

Шаламов В. Собр. соч. «О прозе». <«0 моей прозе»>. Т. IV. М., 1997.

7

Шаламов Варлам. Из записных книжек. Разрозненные записи. <1962-1964 гг.> // «Знамя», 1995, № 6.

«IV Международные Шаламовские чтения». Москва, 18–19 июня 1997 г. М., «Республика», 1997, стр. 85

9

«Минувшее». Т. 23. СПб., «Atheneum — Феникс», 1998, стр. 185, 186.

(Шаламовский сб., вып. 2, Вологда, 1997. С. 81–82.

11

См. В. Т. Шаламов. «Воспоминания» М. 2001. С. 360–367

«Его показания». «Шаламовский сб.», вып. 1. С. 153–161

13

Несколько моих жизней. М., Республика, С. 365.

14

Шаламовский сборник, вып. 1, С. 104–105. В. Т. Шаламов «О письме в «Литературную газету»

15

Т. Г. Цявловская, ЛГ 6. 08. 97. Из писем 1967-77 гг.